

Сергей Дурылин

У Толстого и о Толстом

Воспоминания

От редакции

Воспоминания писателя, театрального и литературного критика, священника и богослова Сергея Николаевича Дурылина “У Толстого и о Толстом” были опубликованы в 1980 году на страницах историко-биографического альманаха “Прометей” (Дурылин С. “У Толстого и о Толстом”. Публикация А.А. Виноградовой // Прометей: Историко-биографический альманах серии “Жизнь замечательных людей”. М.: “Молодая гвардия”, 1980. № 12. С. 199-226).

К сожалению, из-за современной варварской библиотечной политики альманах, выпущенный сотысячным тиражом, сейчас можно найти в очень немногих библиотеках.

Редакция журнала “Урал” публикует воспоминания Сергея Дурылина по рукописи, которая хранится в Музее Сергея Дурылина. Сохранены все авторские примечания и комментарии.

Сергей Николаевич Дурылин

(1886—1954)

Предлагаемые воспоминания о встрече с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым принадлежат перу известного литературоведа и театроведа, доктора филологических наук Сергея Николаевича Дурылина. О Дурылине нельзя сказать, что он был незаслуженно забыт: скорее, он еще не был по достоинству оценен. Автор более тридцати книг, посвященных отечественной литературе и театру, он успешно совмещал научную работу с творчеством поэта и драматурга.

Сергей Николаевич Дурылин родился 27 сентября 1886 года в купеческой семье. С юных лет не расставался с книгой, сам писал стихи, театральные скетчи, рассказы. В четвертой московской гимназии, где он учился, чистописание преподавал актер Московского художественного театра Александр Родионович Артемьев — Артем. Он играл в первых постановках чеховских “Дяди Вани” (Вафля) и “Вишневого сада” (Фирс). Под влиянием Артема гимназисты приобщались к театру, инсценировали басни Крылова, играли в водевилях, выступали в праздничных концертных программах. “У Артема я встречался с Чеховым”, — запишет позднее в дневнике Сергей Николаевич. Это были не случайные встречи — это звено между уходящим “золотым веком” русской литературы и наступающим “серебряным”.

Позднее, будучи студентом Археологического института и совмещая учебу с работой в издательстве “Посредник”, основанным Львом Толстым, в октябре 1909 года Дурылин по делам издательства посещает Ясную Поляну и знакомится с Львом Николаевичем. В воспоминаниях “У Толстого и о Толстом”

подробно рассказывается об этой встрече. Встреча с Толстым стала определяющей в дальнейшей жизни будущего писателя и ученого Сергея Николаевича Дурылина, окончательно решившего посвятить свою дальнейшую жизнь литературе.

Он вступает в активную переписку с Короленко, Розановым, Репиным, спрашивает совета, просит поддержки. Творческую поддержку Дурылину оказало религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева, где он сотрудничает в качестве научного секретаря. Постоянное общение с виднейшими российскими философами Бердяевым, Трубецким, Шпетом, Степуном, Булгаковым, Флоренским, Лосевым во многом определило философское мировоззрение будущего ученого.

После октябрьского переворота 1917 года философский центр был разгромлен, многие из его членов по указанию большевистского правительства на “философском пароходе” были высланы из России.

Не обошлось все гладко и для Дурылина: после длительного пребывания в Бутырской тюрьме его высылают сначала в Челябинск, затем в Томск и Киржач. Лишь после двенадцати лет вынужденных скитаний Сергею Николаевичу удается вернуться в Москву. Он сразу же активно включается в театральную жизнь столицы, сотрудничает с Малым и Художественным театрами. Читает лекции, как театральный критик и лектор по заданию Всероссийского театрального общества выезжает во многие города России, часто бывает на Урале, обсуждает спектакли и свердловских театров, участвует в театральных семинарах, конференциях.

Поразительна работоспособность Сергея Николаевича: в одно десятилетие он становится ведущим театральным критиком России. С его мнением считаются, и его советов ищут многие ведущие актеры и режиссеры страны. Дурылин пишет театральные монографии, исследования по истории русского театра, создает и возглавляет кафедру русского и советского театра в ведущем театральном вузе — ГИТИСе, инсценирует шедевры русской прозы, в том числе и “Анну Каренину” Толстого, “Мертвые души” Гоголя. Он автор либретто в стихах по повести Пушкина “Барышня-крестьянка” и интересной комедии в стихах “Пушкин в Арзамасе”, в которой предлагает свою версию создания гоголевского “Ревизора”. В первые же послевоенные годы Дурылина приглашают заведовать сектором театра в Институте истории искусств Академии наук СССР. На этом посту он оставался до конца жизни, до 14 декабря 1954 года.

В подмосковном доме в Болшево, где жил Дурылин последние почти двадцать лет, после его смерти создан мемориальный музей. В нем собрана уникальная коллекция, включающая картины Нестерова, Волошина, Богаевского, Коровина, Пастернака, Поленова, личные вещи выдающихся актеров и режиссеров: Станиславского, Ермоловой, Яблочкиной, Топоркова, Ильинского и многих других. Посетители музея могут увидеть автографы Шаляпина, Обуховой, Розанова, Грабаря, да всех и не перечислить. Но особую ценность в музее представляет архив писателя и ученого. В нем, без преувеличения, по крупицам собраны редчайшие документы, автографы, письма, фотографии. Работа над уникальным архивом лишь только начинается, и вне сомнений, вскоре после публикаций этих редчайших и интереснейших материалов станет известно много нового из прошлого нашей отечественной культуры, которой более полувека преданно служил выдающийся ученый, рыцарь театра — Сергей Николаевич Дурылин.

Владимир Яковлев

I

Август 1905 года. Я сижу на империале конки. В руках у меня пучок корректурных гранок. Я жадно, жадно читаю одну из них. Гранка испещрена выносками, вставками, поправками. Я с напряженным вниманием вглядываюсь в эти поправки. А эти поправки — поправки Льва Толстого — самого Толстого! Эти гранки — его новый рассказ “Корней Васильев” — я везу корректорше “Посредника” А.И. Борисовой, знатоку почерка Льва Николаевича. Нужно сходить с империала; я бережно прячу гранки и с жалостью оглядываю своих соседей: из них никто не читал нового рассказа Толстого! А из тех, кто спешат по улице, нет такого счастливец, как я: я счастливее всех.

С лета 1905 г. я работал в книгоиздательстве “Посредник”, где все и всё были полны вниманием и любовью к жизни и мысли Л.Н. Толстого, где напечатался тогда “Круг чтения” с его новыми рассказами. В “Посреднике” сходились десятки людей, близко и давно знавших Льва Николаевича; там всегда можно было застать кого-нибудь, от Бирюкова до простого мужика, только что вернувшихся из Ясной Поляны и полных рассказами о Льве Николаевиче, передававших с любовной точностью его мысли и слова. Я тогда же стал записывать кое-что из того, что в обилии тогда слышал. Теперь вижу, что это “кое-что” очень невелико в сравнении с тем, что могло бы быть записано. Из этого “кое-что” я хочу здесь привести также только “кое-что”. Думается, оно не лишено общего интереса.¹

Осенью 1905 г. “Посредник” решил издавать народный журнал. Заведывать собиранием материала и подготовкой его был приглашён поэт-рабочий Ф.Е. Поступаев, а я у него был в помощниках. Поступаев писал обличительные стихи, но это не мешало ему любить и передавать другим любовь к совсем иным созданиям искусства. Любимой его книгой был “Пан” Гамсуна, тогда мало кому известный. Однажды он прочёл мне теперь всем известного, а тогда почти никому не ведомого — “Каменщика” Брюсова.

— Кто это? — воскликнул я в восторге.

— Это Брюсов.

Брюсов — это автор “О, закрой свои бледные ноги” — автор самого популярного и самого короткого стихотворения в России 1900-х годов. Поступаев стал читать другие его стихи — “_____” (Так в рукописи. — Ред.) Я, знавший Брюсова по этому однострочному стихотворению и по ругательным рецензиям в журналах, был поражён. Когда к нам зашёл Н.Н. Гусев, впоследствии секретарь и биограф Л.Н. Толстого, а тогда секретарь “Посредника”, мы его усадили, и Поступаев прочёл ему Брюсова. Гусев был растроган.

И у нас троих зародилась несбыточная мечта: а что если эти стихи прочесть самому Льву Николаевичу? Это было очень страшно: Брюсов был “декадент”, а Лев Николаевич не только “декадентских”, но и вообще стихов не любил: мы знали это хорошо и по “Что такое искусство”, и по его предисловию к

“Крестьянину” Поленца, и по его устным отзывам, доходившим до нас. Он не любил Некрасова и Алексея Толстого: где ж тут соваться с Брюсовым? Но чем страшней, тем больше хотелось: мы успеем полюбить многое в “_____” (Так в рукописи. — Ред.)

И вот Поступаеву представился случай поехать в Ясную Поляну к Льву Н-чу. Он уезжал, а я ему шепнул:

— Фёдор Емельянович, а вы улучите минутку и прочтите Льву Николаевичу “Каменщика” и “_____” (Так в рукописи. — Ред.)

Поступаев вернулся из Ясной Поляны и много рассказывал о Льве Н-че.

— А Брюсов? — тихонько спросил я его. — Читали?

— Читал. Один на один. В кабинете. Со страхом. А он слушал. Нахмурился, брови сердитые.

— Не люблю, — сказал, — стихов. Это всё пустое. Ну уж, читайте.

Я начал с “Каменщика”. Нарочно не поднимал на него глаз, чтобы не остановиться. Думаю: дочитаю — и кончено. Прочёл и глянул на него. Вижу: брови подобрели, хмурость сошла, — и ушам своим не верю:

— Это хорошо, — говорит, — правдиво и сильно.

Тут я ободрился и попросил позволения ещё прочесть.

— Читайте.

Я начал, а начинаются стихи с четверостишия, осмеянного во всех журналах:

Я жить устал среди людей и в днях,

Устал от смены дум, желаний, вкусов,

От смены истин, смены рифм в стихах.

Желал бы я не быть “Валерий Брюсов”.

Я исподтишка глянул на него: слушает, весь слушает. Дальше:

Не пред людьми — от них уйти легко,

Но пред собой, перед своим сознанием.

Уже в былое цепь уходит далеко,

Которую зовут воспоминанием.

Склоняясь, иду вперёд, растущий груз влача

Дней, лет, имён восторгов и падений.

За мной мои стихи бегут, крича,

Грозят мне замыслов недовершённых тени,

Слепят глаза сверкания без числа,

Слова из книг, истлевших в сердце-склепе,

И женщин жадные тела

Хватаются за звенья цепи.

Слушает — да как! Мы так не умеем, а я дальше:

А думы... сколько их, в одеждах золотых,

Заветных дум, взлелеянных с любовью,

Принявших плоть и оживлённых кровью!..

Есть думы тайные, мои исканья Бога,

Но, оскверненные притворством и игрой,

Есть думы-женщины, глядящие так строго

Есть думы-карлики с изогнутой спиной.

Куда б я не бежал истоптанной дорогой —

Они бегут, идут, ползут за мной!

Слушает, слушает. Брови совсем добрые!

О, если б всё забыть! Стать вольным, одиноким!

В торжественной тиши раскинутых полей

Идти своим путём, бесцельным и широким,

Без будущих и прошлых дней...*

Я кончил. А он молчит. Хорошо молчит. И вдруг сказал:

— В этих стихах есть что-то библейское.

И повторил, тронутый:

— Что-то от Библии.

Таков был отзыв сурового стихоборца Льва Толстого о стихах “декадента” Валерия Брюсова. К сожалению, мне не довелось

сообщить самому поэту этот отзыв Толстого.

С весны 1906 г. потек впервые в России целый поток анархической литературы. Главное место в ней занимал Кропоткин. В “Посредник” хаживал молодой человек высочайшего роста и добрейшей души, Ник. Макс. Кузьмин. По убеждениям он колебался между Толстым и Кропоткиным. Осенью вышла книга Кропоткина “Мораль анархизма”. Кузьмин поехал с нею в Ясную Поляну — ему страстно хотелось знать, что скажет чтимый им Толстой о моральном трактате не менее чтимого им Кропоткина. Вернувшись от Толстого, Кузьмин вот что рассказал.

Тотчас же по приезде он дал Льву Николаевичу читать “Мораль анархиста”. Л.Н. её прочел. Все сидели в столовой. Речь шла о революции, о политике, о государстве, — и сама собою перешла на Кропоткина. Все были согласны в том, что Кропоткин — выдающийся ученый и человек очень замечательный по нравственным качествам. Лев Николаевич молчал. Немного спустя он сказал:

— Кропоткин — умный человек, и он — образованный человек...

Кузьмин был в восторге.

— И он — добрый человек, — продолжал Лев Николаевич радовать милейшего Кузьмина, и вдруг закончил:

— И всё-таки Кропоткин — дурак!

Все были поражены. Софья Андреевна сказала:

— Левочка, что ты говоришь? Как грубо!

— Да, он — дурак, — упрямо продолжал Лев Николаевич. — Он не понимает того, что понимал простой мужик, Сютаев.

Такова была оценка Толстым морального трактата Кропоткина, из которого возникла впоследствии его объёмистая “Этика”²

В сентябре 1907 г. “Посредник” начал издавать журнал “Свободное Воспитание”; идейно этот журнал был детищем Толстого и его Яснополянской школы. Журнал этот просуществовал 10 лет и вошёл уже в историю русской педагогики, как единственный орган, ратовавший за реформу воспитания на основе свободы, — т.е. признания творческой личности ребенка. В журнале участвовал и Лев Николаевич.

Для первого же номера журнала он дал свою статью “Беседы с детьми по нравственным вопросам”. Это был возврат его к педагогическим работам после 30-летнего перерыва: статья отражала его занятия с крестьянскими детьми, веденные им летом 1907 г. Однако тогдашние педагогические журналы почти не обратили внимания на это третичное выступление великого писателя на педагогическом поприще.

Лев Николаевич читал “Свободное Воспитание”. В одной из первых книжек журнала я изложил только что вышедшую немецкую книгу проф. Л. Гурлитта “Воспитание мужественности”. В ней Гурлитт доказывает необходимость творческого воспитания личности, считая истинно-мужественными таких людей чистой воли и напряженного творчества, как Лютер, Р. Вагнер. К изложению мыслей Гурлитта я присоединил несколько своих замечаний о необходимости педагогической свободы для творческого воспитания личности. Лев Николаевич, занимавшийся тогда с деревенскими детьми географией и нравственными беседами, прочел мою статью. Тогда же через И.И. Горбунова мне был передан отзыв Льва Николаевича:

— Я согласен: свобода. Свобода нужна, но свобода всегда бывает для чего-нибудь и от чего-нибудь. Свобода от насильственного обучения — это понятно, но для чего нужна человеку свобода? Можно ею воспользоваться для чего угодно. Настоящая свобода возможна только при соблюдении нравственного закона. Только религиозный человек — свободный человек.

Этот, переданный мне И.И. Горбуновым, отзыв Льва Николаевича выражал окончательный взгляд его на верховную задачу воспитания и образования.

Кажется, в апреле 1908 г. я получил от Гусева письмо из Ясной Поляны. Он под секретом сообщил мне, что Лев Николаевич хочет писать против смертной казни и нуждается в материалах. Лев Николаевич нуждался не в тех материалах, которые пополнили бы его сведения о числе совершенных в России в те годы смертных казней и не в официальных сведениях о них. Гусев просил меня подыскать и выслать для Льва Николаевича наиболее живые и правдивые описания смертных казней, почерпнув их из известной мне литературы мемуаров.

Я послал, что мог найти.

Это Толстой готовился писать “Не могу молчать”.

Конечно, и мысли, и чувства этого пламенного вопля против смертной казни были давно уже страдательным достоянием ума и сердца Толстого, и здесь все уже давно было готово и ясно до ужаса.

Но суровая требовательность к себе как к писателю (все равно, что бы ни писалось: “Война и мир” или “Не могу молчать”) привычно требовала, чтобы эти мысли и чувства ещё и ещё раз оперлись о крепкую почву подлинной действительности. Великому знатоку человеческой души нужно было знать, как переживают смертную казнь и приговоренные к ней, и свидетели ее. Вот почему ему нужно было прочесть целый ряд описаний смертных казней для того, чтобы написать пламенное воззвание “Не могу молчать”, так же, как нужно было прочесть целые горы исторических книг и мемуаров, чтобы написать роман “Война и мир”. Толстой всюду и всегда был один и тот же. Меня, помню,

поразила тогда его глубокая, удивительная писательская добросовестность.

Я слушал рассказы о Толстом, читал корректуры с его поправками, знал довольно близко некоторых ближайших его друзей, делал в “Свободном Воспитании”, как умел, то дело, которое мы все, его делавшие, выводили из Яснополянской школы, — но, к удивлению многих, не ехал сам в Ясную Поляну. Я видел на примере “Посредника”, — сколько рук и с какой иногда величайшей нуждой — стучали в Яснополянскую дверь Толстого, отрывая его от важного труда, — и мне было совестно без особой, прямой нужды протягивать еще одну лишнюю руку и стучать в его трудовую дверь.

Но в 1909 г. И.И. Горбунов, редактор “Посредника”, сказал мне просто:

— Поедьте в Ясную. Я еду туда с корректурами. Повидаете старика.

Я согласился, и мы поехали. Я провел в Ясной Поляне весь день 20 октября 1909 г., с раннего утра до позднего вечера. В самый день посещения, выбирая удобную минуту, я записал там же в Ясной Поляне все слова самого Льва Николаевича и все содержание его речей. По приезде в Москву, 22 октября, я набросал вчерне весь рассказ о своем посещении Толстого, а 26—28 октября рассказ был пополнен описательной частью и

принял тот вид, в котором он здесь печатается. Так как слова Льва Николаевича даны в нем в том самом виде, в котором я их записал — иные тут же, при произношении, иные через несколько минут после, и так как весь рассказ вылился в одно целое впечатление, я не меняю в нем ни слова. Не сомневаюсь, что я не совладал девятнадцать лет тому назад со всеми своими впечатлениями, вынесенными из Ясной Поляны, и многое упустил, но зато я ничего не прибавил и не переиначил, как неизбежно бывает с воспоминаниями, записанными через долгий срок. Перечитывая теперь записанное в 1909 году, я вижу, что основное мое впечатление — глубокого трагического противоречия между самим Львом Николаевичем и всем, что его окружало, уловлено мною верно: через год он разорвал тенёта этих противоречий. Но кое-какие впечатления 1909 года, — например, впечатления от лица, речи и чтения Львом Николаевича, — мне хотелось бы дополнить: они живы во мне и через 19 лет, и хочется их сохранить полнее, чем они отражены в записи 1909 г., когда самым неотложным казалось записать его разговоры, мысли, темы и проч. Эти свои дополнительные впечатления, ни в чем не разнствующиe от записи 1909 г., я не сливаю с этой записью, а помещаю после нее. То же немногое, чем хотелось дополнить запись 1909 г. при самом ее изложении, я помещаю в примечаниях к ней, везде оговаривая, что это — “примечание 1928 года”. Вот что я записал в 1909 году:

II

Л.Н. Толстой — бесконечная, трудная, прекрасная загадка. Кому удастся разрешить ее безошибочно? Все обычные решения — не решения, а только приближения к решению, сделанные с точностью до одной десятой, одной тысячной и т.д. “Вещи познаются сравнением”. Но среди нас, в нашей современности, Толстого не с кем сравнить, и ему нет подобных. Он — свидетель и обитатель иной современности, чем наша, и только

там можно найти ему подобных. Эта его современность отделена от нашей, в которой довелось ему жить, давностями в столетия и тысячелетия; для нас его современность — не современность, для нас — это такое бесконечное, дряхлое, ветхое прошлое, о котором мы не можем и помыслить. Для него — это живая современность. Там с древними пророками, основателями религий, мудрецами, во всю жизнь создававшими одну книгу или вовсе не создававшими книг, там он — не одинокий, как среди нас, там он — один из мудрецов. Для нас же он — последний мудрец, как был когда-то последний пророк, как будет, может быть, когда-нибудь последний ученый.

Единственное, что я хотел бы сказать о нем, это о том невозможном пересечении и столкновении двух современностей, его и нашей, которое я видел около него и которое поражает меня, когда я думаю о нем, последнем мудреце наших дней. Скажу же я лишь то, что сам видел и слышал.

Была поздняя осень. Солнце взошло поздно, но по-летнему ярко. Дождей не было, восходы пропали, суля к лету голод, но в воздухе было тихо и ясно. Седой иней лежал на земле, на опавшем листу, на деревьях Яснополянского парка.

Лев Николаевич уже встал и ушел на прогулку. Вчера к нему приезжали из Москвы поэт И.А. Белоусов с граммофончиками и заставили его на четырех языках наговорить для граммофона. По инициативе общества литераторов, чем утомили Льва

Николаевича до чрезвычайности. Он просил писателя — крестьянина С.Т. Семенова: “Я вам до конца жизни не забуду, если вы избавите меня от них”. Но С.Т. Семенов не избавил Л.Н. Толстого.⁴

Мы с Ив. Ив. Горбуновым выходим в сад, поджидая возвращения Льва Николаевича с прогулки. Обычный час возвращения истек, а его все нет.

— Должно быть, на старика напала сегодня хорошая мысль, — говорит мой спутник, объясняя отсутствие Льва Николаевича с прогулки. А кругом идет обычная утренняя суетня богатого дворянского дома: работают ножами на кухне, в комнатах — обычное будничное “утро”. Мы поднимаемся по лестнице и переходим в столовую. Это большая, светлая, высокая комната окнами в сад. На одной стене — портреты предков Льва Николаевича, на противоположной стене портреты Льва Николаевича (Крамского и Репина), Софьи Андреевны (Серова), Татьяны Львовны (Репина) и Марьи Львовны (Ге). В комнате два рояля. На открытом столе у окон — груды новых книг и журналов.

Входит Александра Львовна Толстая. Она похожа на отца: те же грубоватые, сильные черты лица и та же простота и вместе мягкость обращения. А.Л. — вся в заботах об отце. Поездка в Москву,⁵ шум встречи и особенно проводов на Курском вокзале, когда приветствовавшая толпа прямо напирала на Льва Николаевича, так что его спутники опасались за него, вчерашняя история с назойливыми граммофонщиками, — расстраивают Льва Николаевича и ломают ему здоровье, и без того старчески хрупкое. Особенно возмущает Александру Львовну фельетон С. Яблоновского в “Русском Слове”, в котором он пишет, что хотя Толстому и тяжело достались московские проводы, но, ради

общественной пользы, их надо было бы повторить, если б Толстой вновь проезжал через Москву.

Разговор наш прерывается возгласом Андрея Львовича, из-за двери протягивающего какое-то письмо и заявляющего:

— Саша, вот прочитай: очень интересное письмо. Ты вслух прочти. И Иван Иванович послушает. О непротивлении злу.

Александра Львовна с удивлением читает письмо. Оно оказывается письмом управляющего имением Андрея Львовича Тартаково в Тульской же губернии. Он доносит, что ночью на усадьбу было совершено вооруженное нападение крестьянами. Они стреляли в стражника — черкеса. Черкес выстрелил и пробил у одного мужика полушубок, но никого не ранил.

Вскоре появляется и Андрей Львович. Здравуемся.

— Читали? Как жаль, что черкес его не убил, а только прострелил полу!

— Слава Богу, что не убил, — отзывается Иван Иванович, и между ними завязывается разговор. Андрей Львович доказывает необходимость карать, сажать в тюрьмы, убивать, вешать. Ив. Ив. доказывает обратное. Алекс. Львовна с горькой невозмутимостью смотрит на брата. Она приглашает прочесть и проверить вместе с нею новое писанье Льва Николаевича — возражение П.Б. Струве на его статью “Роковые вопросы”⁷, в которой Струве подвергает почтительному разбору недавнюю

статью Льва Николаевича “Неизбежный переворот” (“Рус. Вестн.” от 24 сент.).

В бывшей “Гусевской” комнате, — где на стене висит прекрасная фототипия “Иван Гус на костре” с надписью: “Реформатору Толстому в память реформатора Гуса” — мы читаем и правим статью Льва Николаевича. Она существует в двух редакциях. Первая, более резкая, написана в остроумной полемической форме; в ней Лев Николаевич признает свое невежество перед “кажется, профессором г. Струве”; вторая редакция — более мягкая и более распространенная, чем первая. Но Лев Николаевич недоволен обеими и печатать статью не хочет.⁹

Струве прислал Льву Николаевичу известный сборник “Вехи”, и сначала он произвел хорошее впечатление на Льва Николаевича, прежде всего, конечно, самой мыслью говорить об интеллигенции не как о соли земли, призванной учить народ. Но при ближайшем знакомстве он вынес от сборника обратное впечатление: его неприятно поразила яркая интеллигентность всех приемов, рассуждений и языка авторов, критикующих интеллигенцию. По словам Александры Львовны, Лев Николаевич “так и не мог понять некоторых мудреных слов и выражений из сборника”. Он составил даже особый словарик этих недоступных его пониманию интеллигентских слов, почерпнутых из сборника “Вехи”. В октябре же написана другая, прочтенная нами, статья Льва Николаевича — письмо, предназначавшееся для “Новой Руси”, по поводу письма одной дамы, им полученного. Эта дама обличала его за его выступление против смертной казни, находя, что именно из того, что никто не должен убивать, и вытекает обязанность государства — убивать преступивших эту заповедь. Лев Николаевич отмечает это, поразившее его письмо, как

характерное для верхних слоев общества. Впрочем, и этой своей статьей он недоволен и не предполагает ее печатать.¹⁰

А вот Андрей Львович, присутствовавший при нашем чтении, очень доволен, только не письмом своего отца, а письмом дамы: он просит его в оригинале и внимательно перечитывает.

Кроме этих статей, я прочел еще новые статьи “Разговор с крестьянином” о земле и о непротивлении и статью, которую Лев Николаевич называет “Чингис-хан с телеграфами”.¹¹ В ней Лев Николаевич вспоминает о том, как, бывало, на его памяти, народ с энтузиазмом встречал Николая I, путешествовавшего по России, и как теперь встречает с ненавистью путешествующего Николая II, и доказывает, что уважение к власти в народе исчезает, и не далеко то время, когда это уважение совсем исчезнет.

Зовут к завтраку.

Софья Андреевна, — молодая для своих 65 лет, из которых она, по ее словам, одиннадцать лет кормила детей, — вся захвачена историей нападения на усадьбу Андрея Львовича. Она, как барыня из “Фруктов просвещения”, мечет слова, скучные, упорные, женские слова, обращенные на Льва Николаевича и его воззрения.

— Я ночи не сплю, — говорит она, — мне все кажется: лезут, нападают, — и я же не смею завести черкеса! Я не смею дать ему ружье!

И она сыплет без конца сетованиями, упреками, укорами. Она жалуется на свою судьбу.

— Мне всегда вспоминаются слова папа, — обращается она к Андрею Львовичу. — Он мне раз сказал, что супруги всегда тянут с двух концов за лист бумаги — и живут до тех пор вместе, пока лист не разорвется.

— Вы с отцом рвете лист уж сорок лет, — ну, и рвите еще, — отвечает Андрей Львович.¹²

Скучно, тяжело, совестно.

Из передней доносится голос Льва Николаевича. Ив. Ив. устремляется к нему, и они, забыв о завтраке, углубляются в кабинет Льва Николаевича в чтение корректур его новой статьи “Беседы с учителями”. Я перехожу в Гусевскую комнату. Через некоторое время слышу голос Льва Николаевича и выхожу ему навстречу.

Вот он — Лев Толстой.

Старый, старый старик. На кого он похож? На деревенского деда: такие живут на пчельниках, прекрасные светлой старостью старики; на престарелого батюшку сельского, на дьякона-простоца. Он весь седой, у него белая, чистая прекрасная седина. Серебристые волосики переплетаются в серебряную мягкую ткань; только в усах легкая желтизна. Чудесная, прекрасная старость! Как молодости не завидовать ей?

Старчески-ясные глаза; их цвет — цвет воды Белого моря: синесерый и мутно-прозрачный. Но как внимательно, быстро, как запоминающе он смотрит! Кажется, сразу видит всего человека и все, что в человеке. Какой он живой со своей быстрой, деятельной походкой, частыми шагами; какой он еще не старый, хочется сказать, несмотря на свою глубокую, такую ясную, несомненную старость. Он весь, с головы до ног, от своей вогнутой худой старческой шеи, от нависших белых бровей, до темной блузы, до веревочки, перекинутой через шею, на которой привешены спрятанные у него в боковом кармане часы, — он весь знакомый, тысячу раз виденный, как старый дед, которого с детства привык видеть, потом уехал от него, и вот приехал, и вот опять видишь. Он что-то говорит Александре Львовне, Иван Иванович называет ему меня. Я невольно долго задерживаю его руку в моей.

И сразу мы оба заговорили о Гусеве.

— Я видел его сегодня во сне, — говорит Лев Николаевич, — как живого видел, как будто бы он со мной и не расставался.

— И хорошо видели? — спрашиваю я.

— Прекрасно, прекрасно.13

Уходим в столовую. Лев Николаевич завтракает. И опять видно, какой он старик: жует медленно, долго, на обе стороны; кажется: борода и нос тоже жуют.

Разговор сразу вернулся к попытке “экспроприации” у Андрея Львовича. Собственно, нет разговора, но Софья Андреевна и Андрей Львович усердно вызывают Льва Николаевича на разговор. Опять черкесы, “звери без души”, стражники, непротивление злу. Говорит больше всех Софья Андреевна.

— Ты, — обращается она к Льву Николаевичу, — вот ничего не говоришь о том, что они могли убить управляющего, Ванечку — его сына (он у него один), — Андрюшу, детей... Ты всегда на стороне этих жуликов и зверей, а о тех, в кого они стреляют, ты не думаешь...

И долго и утомительно до неловкости она повторяет одно и то же.

Л.Н. сначала только повторял:

— Да, да... вот такая беда случилась.

Потом стал говорить. По-старчески тихо, мягко, как-то особенно терпимо и обстоятельно, — как будто в первый раз ему приходится объяснять все это ребенку, который не понимает чего-то самого важного и нужного, и в первый раз пришел спросить об этом Толстого, — отвечает он Софье Андреевне. А она, — опять я не могу не вспомнить барыню из “Плодов просвещения”, — беспрестанно перебивает его и в сущности не слушает. Есть что-то непередаваемое в манере говорить Толстого. Она обезоруживает противника и спорящего не словами, не доводами, хотя они всегда терпеливо обоснованы и все даются по существу, но самой терпимостью, простым

спокойствием, какой-то мягкой и решительной уверенностью в правоте истины, которую должны же все понять, которая так очевидна. Я не знаю лучшего слова, передающего самую основу бесед Толстого, как Пушкинское слово “уверчивость”¹⁴ Его речи уверчивы. Тот, кто поймет, что значит это редкое слово, тот поймет, как говорит Толстой.

— Есть только два средства заставить людей не насильничать, не воровать и не убивать, — говорит Лев Николаевич. — Один способ — средство страха, способ ненадежный. Другой — внутреннее сознание людей, что убивать и совершать насилия — грешно, единственно верный.

Софья Андреевна не слушает и снова спрашивает, что же делать с этими “зверями”, жуликами, экспроприаторами, революционерами? И Лев Николаевич опять терпеливо повторяет все, что он только что говорил. На этот раз он начинает в обратном порядке. Он говорит, что из двух способов уничтожать насилие первый — это пробуждение нравственного сознания... На этот раз Софья Андреевна не дает ему договорить, восклицая:

— Сентиментальность!

Вступается Андрей Львович:

— Ты подумай дальше, папа: второй способ, о котором он сейчас скажет, как раз для жуликов подойдет...

Софья Андреевна перебивает и сына. Она утверждает, что в России теперь ни у кого в народе уже нет внутреннего сознания и остается лишь один способ страха и наказания. Она ссылается на то, что пишут об этом в “Гражданине”,¹⁵ хотя тут же оговаривается, что не сочувствует его направлению.

Лев Николаевич по-прежнему мягко отвечает:

— Если бы действительно так было, как ты говоришь, то нас давно бы и в живых не было.

И подробно объясняет, что нам (он подчеркивает нам: он все время говорит о нас, не отделяя себя от Софьи Андреевны и Андрея Львовича) надо больше всего стараться жить в мире с мужиками, больше всего надеяться на средство религиозного сознания, потому что только благодаря тому, что оно еще живо в народе, мы — мы, т.е. остаемся еще помещиками и собственниками и народ не творит насилий над нами.

Само собой, однако, как-то утихает разговор о стражниках и мужиках.

Лев Николаевич беседует с Горбуновым о новой серии народных изданий “Посредника” по религии, задача которой — дать краткие характеристики и извлечения из основных книг мыслей “На каждый день”. Она облегчает ему ответы на бесчисленные письма, получаемые им с разными вопросами религиозного и нравственного содержания.

— Один студент, Крашенинников, спрашивает меня, зачем нужны страдания, если Бог есть любовь. Это все оттого, что “Бог-творец” и проч. Раз он — творец, то как же сотворил такое гадкое место, где есть страдания? Это всегда спрашивают юноши и молодые люди. Я ему послал два дня из “Июня” и “Июля” “на каждый день”. Там все отвечено, и прекрасно, подробно. Там есть и Иоанн Златоуст, и стоики, и новые... Не понимают, что в страдании освобождается дух и умаляется плоть.¹⁶

Александра Львовна спрашивает Льва Николаевича, хочет ли он принять мужика, который приехал к нему из Воронежской губернии. У него, по ее словам, лицо умное и светлое; ей хочется знать, ошиблась ли она в нем или нет?

Андрей Львович замечает:

— Они всегда так: поговорят, поговорят, а потом попросят денег на дорогу.

Лев Николаевич уходит беседовать с мужиком.

Проходит полчаса. Иван Иванович заходит на минутку в комнату Льва Николаевича и видит, что мужик что-то показывает ему в Евангелии.

Появляется Лев Николаевич и просит Александру Львовну дать мужику книг и покормить его.

— Такой умный мужик, — делится Лев Николаевич впечатлениями. — Он объяснял мне нагорную проповедь, и все понимает прекрасно, духовно. И совсем один: у него в деревне борьба с попом. Я говорю ему: “Не надо спорить, не надо ожесточаться”. Но как подумаешь, что ведь все против него!.. Всегда все с этого начинают.

Лев Николаевич надписывает ему свою карточку.

Как-то случайно, между рассказом о мужике, разговор заходит об январской книжке “Русской мысли” за этот год.

— Это сумасшедший дом, — говорит Лев Николаевич. — Я вчера весь вечер читал, прочел повесть, рассказ и стихи.¹⁷ В мое время редакторы старались в январскую книжку помещать все лучшее... Я отмечал пустые места в повести “Белый конь”. 319 мест! Или совсем пустые, или стоят один “Ну”... Сколько этих “ну”! А ведь они получают с листа. Это значит 180 рублей лишних. И подумать: эти деньги они отнимают у этого честного, умного, прекрасного мужика, — вот, как тот, что был у меня.

— Стоило вам, Лев Николаевич, читать и отмечать! — говорит Иван Иванович.

— Нет, отчего ж? Я прочел два рассказа и стихи. Сумасшедший дом.

Я просмотрел потом ту книжку “Русской мысли”, которую читал Лев Николаевич. По словам Александры Львовны, Лев

Николаевич, “по своему обычаю читать такие произведения” (выражение Ал-ры Л-ны), прочел повесть Ропшина “Конь блед” кусками, идя от конца к началу. Читая, он везде отмечал те 319 пропусков, пустых мест, “ну” и проч., которые так его возмутили. О повести он сказал еще, что Ропшин пытается дать своим героям, революционерам, религиозную основу их деятельности: это очень характерно:

— Он сознает, стало быть, что в самой деятельности его революционеров нет никакой основы.¹⁸

Рассказ, прочитанный Толстым, — “Белая березка” Ф. Сологуба. На нем очень интересны обильные отметки Льва Николаевича. Они уясняют требования Толстого к языку. Он подчеркнул все слова и выражения, которые ему не нравятся. Несомненно, ему не нравится и самый сюжет рассказа: некий мальчик Сережа любит какую-то девочку. Его дразнят этой любовью. Особенно дразнит румяная кузина Лиза. Он обнимает белую березку в саду и шепчет ей слова любви.

Сологуб пишет: “Легкое трепетанье пробежало по тонкому телу березы, зашелестели веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманящий голову запах, сладкий запах северной белой березы нежно обвеял мальчика” (стр. 78—79). Толстой недоволено подчеркнул эпитеты к “листочкам” — невинные, к березе — северная; они излишни: все листочки — невинны: виновных листочков не бывает; все березы северные: южных нет. Сологуб рассказывает про Сережу: “Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна и глядел на розоватое, странное и милое небо” (стр. 79). Толстой зачеркивает “странное”: если всеми видимое и всем ведомое небо — странно, то что же тогда не странно в мире? Вот к мальчику пришла кузина Лиза, — символизирующая у Сологуба жизнь. “Уже он (мальчик Сережа)

предчувствует, что не с добром пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и дебелая?.. Ласково спрашивает Лиза: — Милый! Лежишь, встать не можешь?” (стр. 80). “Румяная и дебелая” — сколько раз Сологуб прилагал эти эпитеты к слову жизнь (или олицетворениям ее): Толстой с неудовольствием зачеркивает “дебелая” — и выкидывает приторное обращение “милый”? “Ночь. Стали так спокойно все деревья в саду и заслушались. Заслушались. Замечтались... (стр. 80).

Все это описание деревьев ночью зачеркнул Толстой: ему, великому реалисту, несносен сологубовский импрессионизм ритмических повторений. Объясняясь в любви, Сережа говорит березке: “веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись” (стр. 81). Толстой заключает эту фразу знаком вопроса. “Примкнул к ней Сережа. Обнял руками ее тонкий ствол” — недовольно отмечает Толстой и эту фразу. К концу рассказа его недовольство явно возрастает. Сережа “прижался к нежной коре” березки, “замер в сладком восторге”. “Две жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, и внушали горькую безнадежность ласк”. Эту столь характерную для Сологуба “горькую безнадежность ласк” Толстой сопровождает пометкой: “Бред полный”. Приходит смерть. Она спрашивает березку: “Чего же ты хочешь?” “Истекая сладким соком, шептала белая березка: — Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, — о, дай мне только одно пламенное мгновение!”... И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два тонкие, два трепетно холодеющие тела”. Этот до крайности типичный для всего творчества Сологуба эпилог: — эта жалоба: “темен быт, и тяжки оковы существования” встречают самую суровую оценку со стороны Толстого: “полное сумасшествие”.¹⁹

Беседа с мужиком наталкивает Льва Николаевича на мысли о современном положении деревни, об отрубных участках,

покровительствуемых правительством Столыпина, о праве отца продавать землю помимо желания сына и выходить из общины и т.д. Он относится совершенно отрицательно и к насаждению отрубных хозяйств, и к этому праву продажи земли, и к проводимому правительством разрушению общины. Заходит речь о народном пьянстве, о депутате Государственной Думы М.Д. Челышеве, известном своей борьбой с пьянством, и о придуманных им ярлыках. Эти ярлыки, указывающие на вред вина, как яда, должны быть прикрепляемы, по мысли Челышева, к каждой бутылке водки, выпускаемой на продажу. К составлению текста этих ярлыков Челышев привлек Толстого. Лев Николаевич хочет дать такой, составленный им, ярлык и своему недавнему собеседнику мужику, который и пьет, и курит, но Лев Николаевич надеется, что перестанет. Ярлык не удается отыскать в бумагах. И опять Толстой заводит речь о “сумасшедшем доме” — современной литературе.

— Андреев их всех талантливее в этом сумасшедшем доме. Оттого у него такой успех.

И от “сумасшедшей литературы” переходит к другому к “сумасшедшему” — к городу и городской жизни. Лев Николаевич с ужасом говорит о ней. Недавний двукратный проезд его через Москву столкнул его, давным-давно не покидавшего яснополянских полей, лицом к лицу с городом, — и он весь охвачен своей давней, еще более окрепшей нелюбовью к городской цивилизации, к шуму, суете и ложной занятости современного города. Все что он видел в Москве в эти проезды через нее, — весь рост Москвы, как города: многоэтажные дома, трамваи, автомобили, неудержимый людской поток, стремящийся по улицам к центру, — все эти формы городской цивилизации неприятны ему, и жизнь, протекающая в этих формах, кажется ему глубоко ложной и безумной. И сочувственно улыбаясь, он, счастливый тем, что ни этого шума,

ни этого вопля города не доносится в окна, говорит мне, жалея меня:

— А вот вам завтра возвращаться в этот сумасшедший дом!

Я вглядываюсь в него. В манерах Толстого говорить и ходить, в его движениях, во всем — есть что-то бесконечно спокойное и чуждое нашей городской суетливости с ее непрерывными сменами впечатлений и действий.

Вспоминая недавнюю какую-то телеграмму В.Г. Черткова, Лев Николаевич качает головой и добродушно подсмеивается над европейской слабостью Черткова к телеграммам. Чертков любит телеграфировать, как истый европеец, и шлет Толстому телеграммы, а Лев Николаевич считает лучшим способом передвижения — пешком и на лошадях, не любит жизненной спешки, телеграмм, телефонов: зачем торопиться и тревожить людей?

Воронежский мужик хочет проститься с Львом Николаевичем.

— Может, никогда больше не увидимся.

— Конечно, не увидимся, — говорит с лаской Лев Николаевич и спускается вниз с мужиком.

Через несколько минут нас с Иваном Ивановичем зовут туда же: Л.Н. будет читать сам мужику свой “Разговор с крестьянином”. В небольшой уединенной комнате, где когда-то писалась “Война и мир”, читает Лев Николаевич свой “Разговор” между стариком-крестьянином и заночевавшим у него в избе прохожим. “Разговор” затрагивает вопросы о земле, о рекрутчине, о налогах и т.д. Лев Николаевич, поджав левую ногу, располагается на диване, рядом с ним я, поодаль Иван Иванович, напротив Льва Николаевича — мужик. Читает он превосходно. Его чтение — величайшая простота: нет ни игры голосом, ни искусственно-найденных и удерживаемых интонаций. Если закрыть глаза, то покажется, что присутствуешь при простой беседе какого-нибудь умного старика со случайным, много видевшим на своем веку, прохожим. Беседуют они чинно, не спеша, взвешивая каждое слово: дело у них идет не о пустяках, а о самом важном для крестьянина, — они беседуют, а ты наслаждаешься не тем даже, о чем они говорят, а прекрасной, чистой, образной, настоящей народной речью, где каждое слово живет своей особой жизнью, блестит своей особой окраской.

Мужик следит за разговором с горящими глазами. К концу разговора Л.Н. устает и передает статью дочитывать Горбунову. Потом указывает мужику на ремингтонный список “Разговора” и говорит:

— Я бы тебе и это дал, да не хочу, чтоб ты из-за меня в беду попал. А те книги держать можно.

Мужик восклицает:

— Вот когда бы такой разговор начать в деревне, да если бы докончить его дали! А то разве так договорить дадут?

В передней Лев Николаевич прощается с мужиком:

— Смотри, осторожнее. А то мне будет горе, если ты из-за меня потерпишь.

Лев Николаевич отправляется на обычную прогулку верхом, на этот раз не на “Делире”, на котором ездит обыкновенно, а на “Желтом”. Уверенно заносит ногу через седло. Быстро садится. Теперь уже совсем веришь: нет, не старик. Держится в седле прямо. В особенности, если сравнивать его с Маковицким, которому под 40, но который так неуверен и нестроен на лошади. А все-таки, он — старик. Еще недавно он любил часто повторять: “Мне сегодня двадцать лет”, а теперь повторяет это все реже: “двадцать лет” ему почти никогда не бывает, а “все, — говорит, — больше восемьдесят”.

Александра Львовна, Иван Иванович, В.М. Феокритова и я отправляемся гулять.

Деревня “Ясная Поляна” производит хорошее впечатление — вид у нее зажиточной деревни. На деревне любопытная

встреча. У одной из изб стоит маленькая невзрачная старушка. Лицо у нее все в мелких, мелких морщинках, — из таких лиц, про которые говорят: лицо, как печеное яблоко.

— Знаете, кто эта старуха? — спрашивает Александра Львовна.
— Это ученица Льва Николаевича.

И опять вспоминаешь: как он-то стар, если его ученица, из его знаменитой Яснополянской школы²⁰ — такая старуха, а ведь старше её, по крайней мере, на 20 лет. Очень мало осталось в живых учеников, а учениц, кроме этой, и вовсе не осталось.²¹ А учитель, на нашу радость, жив.

Бродили в поле. Невдалеке виден погост, белая церковь, где погребены родители Льва Николаевича, его воспитательницы: Т.А. Ергольская и П.И. Юшкова, его умершие дети.

После прогулки верхом Лев Николаевич спит. В шесть часов обед. Все сходимся за столом.

По дороге к дому Лев Николаевич встретил охромевшую собаку Белку.

— Вы полечили собаку, — говорит он В.М. Феокритовой, переписчице на ремингтоне.

— Я смотрела. У нее ничего нет.

— У ней что-то внутреннее. — И Л.Н. подробно объясняет, что, по его мнению, “внутреннее” болит у собаки.

— А другая собака, я видел, ловит мышей.

— Что же, мыши вредят плодовым деревьям, — вставляет Софья Андреевна. — Очень хорошо делает, что ловит.

А Лев Николаевич обращается к внуку, Илюше Толстому:

— Она ест мышей. Схватит — и хляст, хляст. Это так противно.

Речь заходит о лошадях. Александра Львовна подсмеивается над словаком Маковицким, который не понимает какого-то русского выражения, относящегося к верховой езде. А Лев Николаевич, с хитрым видом, произносит такое слово, которого никто не понимает:

— О-слёпок!

И объясняет Маковицкому, что оно значит: “это всем интересно”²².

Разговор идет живой и непринужденный.

Лев Николаевич проголодался с прогулки. Он с удовольствием пьет квас и потчует им меня и других. Пьет квас и приговаривает:

— А я у Магомета прочел, что самое сладкое питье — проглоченное слово гнева.

Обед кончен, но все остаются за столом. Опять вспоминаются современные писатели. Л.Н. все не может простить Ропшину его “ну”, пустых мест и лишних 180 рублей, отнятых у мужика. Софья Андреевна вспоминает Дорошевича и его фельетоны в “Русском слове”. Лев Николаевич соглашается со мной, что созданный Дорошевичем и перенятый всеми фельетонистами, особый “гонорарный стиль”, с выделением из фразы отдельных слов и превращением их в самостоятельные строки, — ведет к опошлению и извращению русского языка, — опошлению, которому вообще содействует газетный язык.

Опять Толстой вспоминает о Леониде Андрееве. Заходит речь об его последних пьесках — “Анатэма” и “Анфиса”.²³ Лев Николаевич их еще не читал, но содержание знает. В “Русском Слове” он прочел пародию на “Анфису”; в пародии герой любит не трех родных сестер, как в пьесе Андреева, а целых тринадцать сестер, и всех с именами на букву А: Анфису, Агафью, Агафоклею, Анисью и т.д. Лев Николаевич много смеялся над пародией и теперь просит принести номер

“Русского слова” и прочесть пародию вслух. Читает И.И.Горбунов напыщенно-трагическим голосом.

Лев Николаевич заразительно смеется — и со всеми хочет поделиться своим смехом:

— Очень смешно! И совсем без злобы... А бабушка у него в пьесе такая есть?

— Есть, — отвечаю я. — Она слепа, но все видит и слышит, как вещая.

— И, наверное, была просто обыкновенная старушка, — говорит Иван Иванович, улыбаясь.

— Вероятно, Андреев замышлял представить что-то вроде греческого фатума, — говорю я.

— Да, да, — отвечает Лев Николаевич.

— Как легко стали теперь все писать стихи! Какие богатые рифмы! Так умеют теперь это делать. Даже здесь, в газете. Когда сравниваешь старых поэтов — Фета, Тютчева, с новыми, видишь, что у стариков нет таких изысканных рифм, размеров и т.д. Каждый современный третьестепенный поэт разнообразнее их в этом отношении, — говорю я.

— Да, — соглашается Лев Николаевич. — Зато у Тютчева ни одного слова нельзя заменить другим. Они не поймут, что самое прекрасное — просто. Я видел недавно картины в кинематографе. Мне больше всего понравилось самое простое: идет баба за водой, на закате. Что может быть проще? Это так просто и прекрасно: она медленно, не торопясь, как будто никто ее не видит, проходит за водой на речке. А солнце садится. Или: под вечер овцы бредут под горку. Вечереет. Тихо. Я с наслаждением смотрел. И это так просто и прекрасно.

Опять возвращается Лев Николаевич к Андрееву.

— Я недавно перечитывал его рассказы. У меня есть два тома. Первые его рассказы прекрасны. Принеси, Саша.

Александра Львовна приносит I и III томы рассказов Андреева. Лев Николаевич их перелистывает:

— Как раз все самое слабое и пустое больше всего у него понравилось, и он подумал, что так-то и надо писать. Вот рассказ “Молчание”. Начало и середина — прекрасные, а конец — фальшивый, приподнятый, выдуманный. Тоже и “На реке”. А теперь он почти всегда так пишет. Если он у меня будет, я скажу ему это.²⁴

Лев Николаевич делает несколько замечаний о вредном влиянии славы и денег на талант Андреева. И.И. Горбунов рассказывает, со слов поэта И.А. Белоусова, о пьяной истории, учиненной Андреевым на вокзале в присутствии Белоусова. Андреев поссорился с каким-то незнакомым господином, и дело

дошло до того, что Андреев и тот господин обменялись визитными карточками для дуэли, и история благополучно разрешилась только потому, что господин, прочтя на карточке имя и фамилию Андреева, возопил: “Что же вы раньше не сказали, что вы — Леонид Андреев!”

Лев Николаевич выслушал рассказ, но привел в ответ на это прекрасный отзыв о личности Андреева, который ему дал поэт Леонид Семенов, ныне ушедший в народ, подобно Александру Добролюбову.

— А я его мнением дорожу! — заключил Лев Николаевич. И видно, с какой любовью он относится к ним обоим — к Леониду Семенову и Добролюбову, и как много значит в его глазах их мнение.

— Он недавно посетил меня, — говорил Л.Н. о Добролюбове.²⁵

От Андреева речь переходит к театру.

Мы с И.И. Горбуновым рассказываем Льву Николаевичу, как в Москве слепо увлекаются театром: один год — “Брандом”, другой — “Жизнью человека”, третий — “Синей птицей”, четвертый — “Анатемой”. Иван Иванович объясняет это так:

— До семи часов вечера люди заняты, кипят, вертятся, как белка в колесе. Вот подходят вечерние свободные часы. Что делать? Одни одурманивают себя вином, другие — театром.

А я, по привычке, повторяю:

— Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града...

Это стихотворение горячо любит Лев Николаевич. (Оно, вместе с двумя стихотворениями Боратынского и Тютчева, включено им в “Круг чтения”).

— Да, да, — говорит Лев Николаевич. — Пушкин знал это. И выразил удивительно.

— И в эти страшные часы, — говорю я, — когда человек остается ночью один с самим собой, он боится себя и спешит уйти в театр. А там, после театра, сон.

— А утром — газеты, — продолжает Лев Николаевич. — Когда я был в Москве, я поразился. Люди идут, едут, спешат, бегут — и читают, читают на ходу газеты. Это отрава. Это для меня было ново. В мое время не было так. Да и газет почти не было. Одни “Московские Ведомости”. Я сам чувствую себя утром как-то не по себе, если нет писем. А ведь знаю, что это ненужно и вредно для меня.²⁶

Лев Николаевич встает и зовет:

— Ну, пойдёмте толковать ко мне о религиозных книжках.

— Я вас не изгоняю, — обертывается он ко мне ласково, видя, что я думаю, что приглашение относится к одному Ив.Ив. Горбунову.

Мы втроем уходим в кабинет Льва Николаевича.

Там так тихо, в его комнате.

У одной стены маленький круглый старинный столик; на нем простая белая лампа под абажуром; рядом кресло. На стене — много фотографий. Еще несколько столов и горок с книгами. А по главной стене тянется большая полка с Энциклопедическим Словарем Брокгауза. Над полкой в огромных, прекрасных гравюрах — “Сикстинская Мадонна” — в гравюрах, а не в гравюре: по стене развешаны все части “Сикстинской Мадонны”, каждая в особой гравюре: отдельно Мадонна, отдельно Сикст, отдельно св. Варвара, херувимы.²⁷

Из кабинета дверь в спальню Льва Николаевича.

Ив. Ив. Горбунов подробно докладывает Льву Николаевичу обо всех своих планах относительно новой серии изданий

“Посредника” по истории религии. Серия должна заключать в себе изложение учений и выбранные места из основных книг великих религиозных учений, начиная с древнейших китайских, индусских и кончая новыми.

Начинают обсуждение с древних китайских мудрецов. Как тихо, полный какого глубокого внимания и интереса говорит о них Лев Николаевич! Он их любит, он с ними волнуется, с ними спорит, с ними единомыслит, — и они — ему подлинные современники, не то, что мы с телеграммами, газетами, Л. Андреевым, театром, Сологубом и пр. У него среди них есть друзья, есть единомышленники, но есть и противники.

— В книжку мыслей Ми-Ти, — говорит Лев Николаевич, — надо вставить и Мен-цзы. Это ведь в нем полемизирует Ми-Ти. Иначе будет непонятно. Ми-Ти совсем отвергает насилие, и государство. А Мен-цзы — это китайский Павел (апостол). Он хочет примирить все ученье с властью, с государством.

Как он говорит о мудрецах, об умерших за 2000, за 3000 лет до нас, мы так говорим о новой книге Мережковского, о новом течении в искусстве. Какое недоразумение, что он живет с нами, что мы считаем его своим современником, и спорим с ним, не понимаем его! Он — их современник, он — не наш, он — современник тех, кто в вечности, и думает только о вечно сущем, а не о меняющихся призраках видимого. И книги, окружающие его, книги их мыслей, их и его, а не нашей современности.

Отвлекаясь от китайцев и повторяя любимую мысль своей старости, что религия любви у всех одна, он показывает полученную из г. Александрополя (Закавказье) книгу Атрпета “Секта Бабизм”, излагающую жизнь и учение Баба, явившегося в

мусульманстве провозвестником чистого и высокого религиозного учения. Об учении этом Л.Н. говорит с большим уважением и высказывает мысль, что оно может много содействовать религиозному обновлению застывшего в суевериях мусульманства. Но его печалит, что и в изложении учения последователей Баба, и в их отношении к продолжателю дела Баба, преследуемому Турецким правительством в Бега-Улле, вкралось уже немало новых суеверий и есть уже попытки окутать личности Баба и Бега-Уллы легендами почитания.

— Всегда так бывало, — говорит Лев Николаевич. — С бабизмом повторяется то, что было с буддизмом и с другими религиозными учениями. Чистое учение трудно сохранить среди людей, еще неготовых его принять. Учение подменяется почитанием личности основателя.

Вот почему так важно, по мнению Льва Николаевича, издание таких общедоступных книг, в которых великие религиозные учения прошлого предстали бы в их чистом, даже чистейшем виде. И.И. Горбунов говорит на это, что долг “Посредника” — это сделать, и что это возможно сделать с китайцами, с буддизмом и пр., ну как быть с христианством? что скажет духовная цензура? Л.Н. думает, что и это возможно. Он считает крайне важным издать в новой серии “Посредника” особую книжку, в которой выражена была бы самая сущность христианского учения, но словами, почерпнутыми исключительно из древнейших христианских первоисточников.

— Это будет метафизика христианства. Я думаю, что и цензура ничего не будет иметь против. Надо выбрать места из Евангелия, из посланий, в особенности из Иоанна.

От христианства Лев Николаевич переходит к буддизму. Кроме изложения учения Будды, должна быть книга и об учении Веданты. Л.Н. достает книжку английского журнала.

— Я получил (Пропуск в рукописи. — Ред.), журнал веддийский, из какого-то индусского городка. Там есть прекрасная статья о Ведах и Канте. “Майя” — ведь это предельность видимого мира, за которым скрыто вечное. Это прекрасно. Это совершенно как у Канта.

И Лев Николаевич сегодня же хочет написать письмо в редакцию журнала с просьбой указать лучшие сочинения о Ведах и помочь “Посреднику” в издании книжки о них.

Иван Иванович передает Льву Николаевичу для просмотра “Шесть систем индийской философии” Макса Мюллера.

— Прочту, непременно прочту, — отзывается Лев Николаевич. — Только горе, что он — ученый. Ох, эти ученые! Это ведь не шутка, Сергей Николаевич, что он ученый! — внезапно обращается он ко мне, улыбаясь. Берет свою новую книжку “На каждый день. Июль” и читает оттуда рассуждения Лихтенберга, современника Канта:

“Изучение естественной истории дошло, наконец, в Германии до безумия. Хотя для Бога человек и насекомое — равноценны, однако для нашего разума это не так. Как много должен человек привести в порядок, прежде чем он дойдет до птиц и мотыльков! Изучи свою душу, приучи свой ум к осторожности в суждениях и сердце к миролюбию. Научись познавать человека и вооружать

мужеством говорить правду на благо твоих ближних. Навостри ум свой математикой, если не найдешь для этого никакого другого средства; остерегайся только классификации букашек, поверхностное знание которой совершенно бесполезно, а точное уходит в бесконечность. “Но Бог бесконечен в насекомом так же, как в солнце”, — скажешь ты. Я охотно признаю это. Он неизмерим и в песке морском, разновидностей которого еще никто не систематизировал. Если ты не чувствуешь особенного призвания ловить жемчуг в тех странах, где этот песок находится, оставайся здесь и возделывай свое поле: оно требует всего твоего прилежания; и не забывай, что вместимость твоего мозга конечна. Там, где сидит какая-нибудь история бабочки, нашлось бы, может быть, место для мыслей мудрецов, которые могли бы вдохновлять тебя”. С любовью, медленно читает Лев Николаевич дорогие ему мысли.

— “Научись познавать человека, изучи свою душу, приучи свой ум к осторожности в суждениях, сердце к миролюбию!” — Он это совсем не читает, он говорит это: кажется, он кого-то ласково, упорно увещевает.

— “Там, где сидит история бабочки, нашлось бы место для мыслей мудрецов”... — опять говорит он с сокрушением, со скорбью о том, что, вместо возможного богатства, человек довольствуется нищетой. И кажется: не нам с Иваном Ивановичем, в тесной комнате, в тихий вечерний час, говорит это последний мудрец, скорбящий о том, что гибнет вселенская мудрость, та мудрость, которая нужна не философу одному, — а говорит он это всем, говорит огромному, несчастному “сумасшедшему дому”, который сам лишил себя вдохновения высоких мыслей и вечной правды, предпочитая им жалкую, ненужную “историю бабочки”.

Прочел неторопливо и благоговейно, — и роется спешно в “Энциклопедическом словаре”, ищет, нашел, дает мне:

— Вот прочтите.

Читаю вслух резко отчеркнутое карандашом место о том, что сперва знали в науке 14000 особей вида (Пропуск в рукописи. — Ред.), потом узнали 16000, потом еще сколько-то узнал какой-то ученый.28.

Л.Н. хитро улыбается.

Я рассказываю ему, как Бернарден де Сен-Пьер задумал описать всесторонне одно земляничное растение, и пришел к заключению, что для того, чтобы изобразить все условия жизни и развития земляники, надо исследовать все влияния почвы, климата, страны, затронуть все опытные науки, — иначе говоря, описать весь мир.

И.И. Горбунов замечает:

— Да, вот он понял и написал (Пропуск в рукописи. — Ред.)

— Я не знал этого, — улыбается Лев Николаевич, — но ведь и Дарвин также. Ну, хорошо: человек произошел от обезьяны, а обезьяна от кого? а тот, от кого произошла обезьяна, от кого? а тот от кого? а тот от кого? И мы так никогда не кончим.

Иван Иванович выходит за какой-то книгой. Лев Николаевич, захваченный своей любимой темой, говорит мне взволнованно:

— И в этом огромном потоке современных книг, газет, журналов тонут немногие прекрасные, вечные мысли...

Какой-то еврейский раввин прислал Толстому письмо, в котором обращает его внимание на слова Христа в Евангелии: “Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего” (Лев. 19, 17—18), а я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас” (Мф., 6, 43—44). В словах Христа есть ссылка на книгу Левит (19, 17—18), между тем в соответствующем месте книги Левит нет никакой заповеди о ненависти к врагам.

— Кто из вас моложе? — спрашивает Лев Николаевич, с улыбкой оглядывая меня и Ивана Ивановича, — принесите мне Библию.

Я отправляюсь за Библией, и Маковицкий через некоторое время приносит ее из библиотеки.

Лев Николаевич просит меня отыскать и прочесть нужное место из книги Левит. Читаю: “Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха; Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь (Бог ваш)” (Лев. 19, 17—18).

Читаю, по просьбе Льва Николаевича, дальше: “Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш: любите его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш”. (Лев.19, 33—34).

Места, которые я читаю, уже подчеркнуты кем-то. Лев Николаевич вспоминает, что это подчеркивал он сам перед писаньем “В чем моя вера”.

— Да, да, Христос здесь спутал, — говорит он, — может быть, просто не знал. Это у меня уж давно было отмечено.

Обсуждение будущих изданий “Посредника” по религиям окончено. Иван Иванович мечтает, что впоследствии он издаст вторую их серию, посвященную менее значительным мыслителям и основателям религиозных учений. Лев Николаевич на это грустно улыбается, чуть покачивая головой:

— Вы, должно быть, собираетесь прожить еще сто лет, Иван Иванович. Нет, уж я не доживу. Придется вам одним.

Он глубоко задумался и как-то особенно покорно и уверенно-грустно тихо промолвил:

— Счастливый вы человек, Иван Иванович: думаете, что все сделается, что все будет хорошо... А я вот так не думаю. Делаю

только для души, потому что так надо, — надо говорить и кричать, как петух...

Я получаю от Льва Николаевича на память портрет с надписью и спрашиваю его о Гаршине,²⁹ (биографию которого я писал тогда), о свидании его с Гаршиным, но он все забыл. Виновато улыбается:

— Ничего не помню. Забыл.

Я рассказываю ему о свидании Гаршина с Лорис-Меликовым.³⁰

Лев Николаевич заинтересован.

— Это очень важно. Это нужно. Помню его “Четыре дня”. Прекрасный рассказ. Я жалею, что не поместил его в “Круг чтения”. Гаршин был прекрасный человек. Что-то, помню, прекрасное, чистое, доброе, страдающее.

Лев Николаевич разрешает мне справиться в его дневниках, хранящихся у Черткова, нет ли там записей о свидании с Гаршиным.

Он устал. Мы прощаемся. И невольно как-то выходит: я не могу ограничиться пожатием руки, я его целую.

Я видел Льва Николаевича еще раз в тот же вечер. Перед этим я говорил о Гаршине с Софьей Андреевной. Очевидно, ей сказал о моей работе над биографией Гаршина сам Лев Николаевич, потому что она сразу заговорила со мной о Гаршине. Вечером, позднее, Лев Николаевич пришел к чайному столу, уже перед самым моим отъездом. Он пришел прочесть только что им написанное письмо к редактору ведийского журнала.

Несколько мимоходных его замечаний. Оказывается, он любит игру на балалайке, и улыбаясь, замечает, что она очень понравилась сыну Генри Джорджа, когда он был в Ясной Поляне; наоборот, пластинки граммофона с песнями каторжан, записанными композитором В. Гартевельдом, Льву Николаевичу не нравятся:

— Разве можно увеселяться чужим страданием?

Назавтра он ждет к себе тульского ксендза для беседы. Заходит речь о священниках. Иван Иванович вспоминает о тульском священнике, который каждый год является в Ясную Поляну и беседует с Львом Николаевичем, в надежде вернуть его в православие.

— Вот вы писатель, — обращается ко мне Лев Николаевич. — Вот и напишите рассказ: молодой человек, добрый, хороший, учится в семинарии, честный, умный. А тут семья, отцовское место пропадает, если он священником не сделается. А там женят, своя семья, дети. Так и запутался, и уж никогда не выйти. У католиков не так. Нельзя осуждать. Они несчастные.

Лев Николаевич трогательно и ласково говорит Софье Андреевне, — которая собирается ехать в Москву со мною, — что он хочет побыть с нею перед ее отъездом. И они уходят в его комнату. Через несколько минут Лев Николаевич выходит опять к нам. Он просит Софью Андреевну сшить ему поддевку вместо его блузы, поверх которой он вечером накидывает вязаную шерстяную куртку. Он зябнет по вечерам.

Надо ехать.

Я еще раз прощаюсь со Львом Николаевичем.

Ночь холодная, прекрасная, звездная, и луна светит. Мне дают надеть поверх пальто суконную свитку Льва Николаевича. Едем. А звезды в аллее парка горят так чудесно, так четко, так близко, — словно удерживают меня возвращаться в “сумасшедший дом” от великой тишины “последнего мудреца” наших скудных дней.

1909 г.

III

Я уже сказал, что меньше всего уложилось в мою запись 1909 г. впечатление от лица и речи Льва Николаевича. Это впечатление

было огромно — и не могу не попытаться его здесь выразить: оно живо во мне и по сей час.

Из слов же Льва Николаевича, не могу понять, как я мог пропустить в своей записи его ответы на три мои вопроса, заданные ему в один из разговоров с ним. Они у меня уцелели в записи 1913 года.

Я спросил Льва Николаевича, какое произведение русской художественной прозы он считает наиболее совершенным в чисто художественном отношении. Он, не задумавшись, ответил:

— “Тамань” Лермонтова. Это — совершенство. Я видел снимок с рукописи: она вся до того исчерчена, что ничего нельзя разобрать. В повести нет ни одного лишнего слова, ничего, ни одной запятой нельзя ни прибавить, ни убавить. Так еще писал только Пушкин.

— А Толстой? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Не так, — улыбнулся Лев Николаевич.

И я задал третий вопрос: какое из своих произведений Лев Николаевич считает лучшим с чисто художественной точки зрения? Он ответил:

— “Бог правду видит, да не скоро скажет”.31

В Толстом меня поразила больше всего красота его старости. Её-то я и пытался выразить в своих неумелых словах. Красота эта была действительно могуча, но, теперь вспоминаю, и двойственна: то давала впечатление какой-то силы, — “да он вовсе не старый: он — морёный дуб, которому веку нет”, — то тут же виделась хрупкость, тонкая фарфоровость этой красоты. Когда он садился на лошадь и ехал, прямой, как юноша, и Маковицкий еле-еле поспевал за ним, сгорбленный и маленький, — радовала сила этой старости; но когда он сидел в своей комнате, зябко кутаясь в вязаную куртку, наброшенную на плечи, и я смотрел на его худую шею, всю в морщинках, на тончайший, снежный лен его волос, мне он казался таким хрупким, фарфоровым, что сердце сжималось тревогой: “ах, боже мой: да ведь как же уберечь этот тончайший и хрупкий белый фарфор? А уберечь необходимо, неотложно: ведь нельзя же не видеть, что ему цены нет, что он один на весь мир”. И вот — эта шея. Я вижу ее перед собой.

Сзади нельзя было без бесконечной жалости смотреть на него. Морщинки, бороздочки, желобочки этой шеи были точь-в-точь такие, как бывают у натрудившихся донельзя за свой век деревенских стариков, которым одного только желаешь до боли: покоя, покоя, покоя. Вот и ему, великому писателю, до боли желалось такого покоя, как деревенскому натрудившемуся старику. А покоя ему не было.

И от него пахло деревней — каким-то ржаным, родным, святым запахом исконной средне-русской деревни. Казалось порою

нелепостью, временною причудою, чьей-то шуткой то, что он ходил по паркету, говорил с нами о Леониде Андрееве, о стихах, ел серебряной ложкой, и светская моложавая дама в тщательной прическе — жена — говорила ему “ты”. На пчельнике, на пашне он казался бы вросшим в землю, любовно и матерински держимым ею.

Я всматривался в его лицо, когда он читал свой “Разговор” воронежскому мужику, и думал: Такое, точное такое, и должно было быть лицо у того, кто написал “Бог правду видит”, и вместе с тем у того, кто создал “предания русского семейства” и Кутузова в “Войне и мире”. Необыкновенная народность лица Толстого поражала. Толстой — средне-русская лесная береза, выросшая в тенистом парке, насаженном и выхоженном заботами поколений, с липовыми аллеями, с кустами роз, — буйно-прекрасная, крепкая, смиренная, простая береза. По лицу, Толстой — мужик. Если бы воронежскому мужику дать читать “Разговор”, а Льва Николаевича посадить, вместо мужика, слушать его, — перемены бы не было: один крестьянин постарше, другой крестьянин помоложе, но оба крестьяне. По лицу, Толстой — мужик, затесавшийся в толпу бар, интеллигентов, европейцев. В собрании, на балу, на диспуте в университете, на лекции, — его лицо, — если б мы с детства не привыкли к мысли, что это лицо автора “Войны и мира”, — среди лиц профессоров, депутатов и т.д., — казалось бы нам лицом случайно зашедшего мужика, истопника, дворника, ходока из деревни и т.п.; — оно давало бы приблизительно то впечатление, какое производят на сцене лица мужиков в “Плодах просвещения” в окружении профессора, бар, гостей и т.п. Лицо Толстого от мужика отделяла, а к не-мужику приближала только не-мужицкая одежда, которую он носил до середины 1880-х гг.; когда он перестал ее носить, а стал одеваться попросту, его всюду принимали за мужика, и “по одежде” и по лицу встречали, а по автору “Войны и мира” провожали.

В 1927 г. я много беседовал о Толстом с С.В. Карницким. Это — крестьянин по занятиям, воззрениям, языку, одежде, по всему. А был он сын священника Василия Карницкого, священствовавшего в 1870-х гг. на погосте, близ Ясной Поляны, где похоронены родители Льва Николаевича, и дававшего уроки его детям.³²

Карницкий еще мальчиком знал Льва Николаевича и купался с ним. Вот что ему запомнилось. Дело было в начале 1880-х годов. Сидит Карницкий на вокзале, ждет поезда, и видит: в третьем классе, с мужиками, Толстой. До отхода поезда осталось мало времени. Толстой сидит, будто и не едет с этим поездом.

Карницкий подошел к нему:

— Что же вы, ваше сиятельство, не садитесь в вагон? Время ехать.

— Да вот билета мне не дают.

Толстой был в полушубке и в сапогах. Поезд был дальний, продавали билеты только во второй класс, — и кассир счел невозможным пустить овчинный полушубок и сапоги с дегтем в мягкий вагон и Толстому, как мужику, отказал в билете второго класса. Карницкий бросился туда, сюда, нашел знакомое начальство, уверял, что этот мужик — граф Толстой. Поглядели на Толстого — и нашли оправдание кассиру:

— Ну, где его тут разбирать с мужиками, что он граф. Он — как мужик.

Когда убедились, наконец, что в полушубке был действительно Толстой, кто-то из начальства подошел к нему и почтительно просил:

— Пожалуйста, ваше сиятельство, в вагон.

А полушубок улыбался:

— Да вот меня не пускают.

— Пустят, пожалуйста.

И начальство отворило Толстому дверь в вагон второго класса. Но не так-то просто было войти Толстому в полушубке в вагон. Публика с изумлением обернулась на него. В самом деле: мужика сажают в мягкий вагон! Только потом, когда мужик был окончательно внедрен начальством в вагон, кто-то признал в нем Толстого.³³

Особенно “мужиком” казался Лев Николаевич в деревне, среди подлинных мужиков. Даже хорошо знавшие его люди, случалось, не узнавали его в деревенской обстановке. Евг. Вас. Буткевич, жена врача Андрея Степ. Буткевича³⁴, рассказывала

мне следующее происшествие. Она с мужем и маленькой дочкой жили неподалеку от Ясной Поляны, в Русанове; муж ее, врач, “сел на землю”, крестьянствовал, а она вела хозяйство. Жили очень просто и скудно. Однажды она, в сенях избы, умывала маленькую дочку Таню. Воды не хватило в умывальнике, а у девочки все лицо намылено. Видит она: в дверях на пороге стоит какой-то мужик, старик. Она протянула ему ковш и попросила:

— Дедушка, зачерпни, пожалуйста, в кадке воды и подай умыться.

Дедушка зачерпнул, подал, даже полил, — и тут только, хорошенько взглянув на услужливого дедушку, она с ужасом узнала, что дедушка был Толстой, пришедший к ее мужу. Стыду ее не было предела, а дедушка весело смеялся.

Но ей нечего было стыдиться, что она приняла Толстого за крестьянского дедушку: он и был таким дедушкой. По лицу, он — сгусток русского народа. В его лице сгустились народные русские черты. Можно указать тысячи хороших лиц в русском народе и теперь, и особенно в недавнем и давнем прошлом, так сказать, параллельных лицу Толстого: это лица крепких земле, верных крестьянскому труду исконных землепашцев крестьян северной и средней России, но лица, при верности земле, осмысленные, согретые мыслью о небе, это лица не только с опытом земным в уме, в руках, но и с опытом небесным в душе, в глазах: лица таких людей, как богобоязненные старые деды-пчеляки, грамотные душевные мужики, старообрядческие начётчики из мало-книжных и не-профессионалов, старые заштатные сельские “батюшки”, высокодуховные Акимы (“Власть тьмы”) и Аксеновы (“Бог правду видит”).

У Толстого лицо народно, национально в высшей степени.

Нестеров был высоко прав, когда не мог не поместить его на своей замечательной картине “Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царствие небесное”, где у него представлена вся народная Русь в ее устремлении к Взыскуемому граду.

Народно лицо Толстого — и прекрасно своей народностью, народна речь — и также прекрасна.

Я перечел все жалобы Льва Николаевича на граммофончиков и вспомнил собственное свое негодование на то, что они потревожили его мудрый покой, — а теперь думаю: “какое было бы счастье, если бы, — не мучая Льва Николаевича и не отрывая от дела, а как-нибудь незаметно для него, вот так, как Маковицкий, записывая при нем же его слова, — если бы граммофончики были умнее и записали бы живую речь Льва Николаевича, не его специальное для граммофона чтение, так тяготившее его, а его живую, непринужденную, не-нарочную, так сказать, речь!” Слушать эту живую запись живой речи Толстого было бы нам теперь и величайшей радостью, и величайшим стыдом.

В живой речи Толстого сказывалась та живая “совесть языка”, о которой когда-то Гиляров-Платонов писал, как о великом хранительном свойстве великого русского языка: эта “совесть языка”, — которой у нас осталось так мало и в живой, и в литературной речи, — не допускала в речь Толстого ничего, чуждого живой силе, мудрой глубине и светлой ясности исконной русской народной речи.³⁵ Недаром он с некоторым негодованием составлял словарик слов, употребленных

интеллигентными авторами “Вех” и будто бы ему “непонятных”: непонятны ему были, конечно, не сами эти, — повсюдные теперь в газетах и в речи, — интеллигентские слова, а непонятно было то, зачем они нужны были при неисчерпаемом богатстве русского языка и зачем ими пятнать и уродовать глубину и ясность русской речи?

В его речи не было вовсе этих пятен и язв, которыми недугует наша речь. В его устах, — что бы он ни говорил: шутил ли, рассказывал ли что-нибудь, излагал ли самые важные истины религии, — в его устах русский язык был неизменно один и тот же “великий могучий русский язык” (Тургенев). Речь его была ярка, выразительна, точна, а между тем она была совершенно проста: тем же самым языком, каким он разговаривал с воронежским мужиком, он говорил о Канте, и о Тютчеве, и о философии Веданты: никакого упрощения речи для первого, никакого усложнения — для вторых. На всё хватало тех же самых, простых и точных, слов, тех же самых емких и живых оборотов речи: ни понижать, ни возвышать склада и лада речи не было никакой надобности. Склад речи оставался тот же: высокий в своей простоте, и простой в своей подлинной глубине. Мужик, с которым он разговаривал обо всем: о Боге, об Евангелии, о земле, о Генри Джордже, о рекрутчине, не переспрашивал у него ни одного слова: все было понятно ему, каждое слово в устах Толстого. Но если бы Толстой внезапно подменил слушателя и мужика заменил бы профессором, а оставил бы те же темы для разговора, ему не пришлось бы менять склада речи, вводить новые, более мудреные слова и речения. Он остался бы с тою же речью, с той же речевой простотой и ясностью, при всей крепкой ее выразительности и ёмкой точности. Ни один русский писатель из тех, кого я знал за четверть века, не обладает и в малой степени такую живую и чистую речь, какой обладал Толстой. Послушать его теперь было бы, повторяю, стыдно: это был бы наглядный образец, как надо говорить по-русски, а наша речь послужила бы тогда не менее наглядным образцом того, как не надо говорить по-русски.

Чтение Толстого было прямым продолжением его живой речи. Я думаю, что и в чтении, и в живой речи Толстого много сказалась его долголетняя влюбленная работа с крестьянскими детьми. Если, по его признанию, у них он учился писать, и без встречи с ними не родился бы изумительный по простоте и выразительности язык “Кавказского пленника”, то, думается, без этой встречи не родилась бы и его простая и мягкая, но вместе мужественная живая речь и его такое же точь-в-точь чтение.

“Чтение ...” — написал это слово и осознаю, что его надо зачеркнуть. Нет, он не читал. Если “читать” значит что-то противоположное “говорить”, то он, конечно, не читал: он говорил, рассказывал, передавал, научал — что угодно, только не “читал”. Но, если читая, он не “читал”, а говорил, то это был особый разговор: какой-то более емкий по смыслу, более сгущенный, чем обычный, такой, при котором, пожалуй, словам было более “тесно”, чем при обычном разговоре, а “мыслям просторно”, — тоже просторнее, чем при обычном разговоре.

Вот и все отличие. Но опять — это была сама простота, читал ли он свой “Разговор” или мысли Лихтенберга, — но не та упрощенность, не то нарочитое опрощение языка, к которым мы прибегаем, беседуя с людьми малообразованными, и при которых не грех вспомнить пословицу: “простота хуже воровства”, — это была та простота, которая завершает собою громадные творческие усилия ни в чем не погрешить против великой совести великого языка и в этом стремлении заставляет учиться у московских просвирен (Пушкин) и у яснополянских крестьянских детей (Толстой). Только любви к сокровенной душе родного языка, той любви, которая сквозит в приведенном письме Толстого и народном журнале, только неуклонной верности заветам его совести, хранящейся в глубине народной, дается эта высокая простота языка, а с нею вместе бессмертная

красота письменной и нерукотворное богатство устной речи. Это все и было у Толстого.

Тот, кто слышал живую речь Толстого, его разговор и его чтение, тот знает, как прекрасна была у него простота в силе и богатстве речи и как великолепны богатство и сила. Тем же, кто не слышал живой речи Толстого, остается судить о ней по некоторым страницам его писем и по прекрасной речи его народных рассказов.

IV

Я вернулся из Ясной Поляны. В душе было какое-то непротивление добру. Я пережил еще раз общение с Львом Николаевичем, сев восполнять и обрабатывать свои яснополянские записи на другой же день после приезда в Москву. В течение нескольких недель Толстой как будто стоял за моими плечами — тот же внимательный и уверчивый — и как будто смотрел на меня ласково строгими глазами. Под воздействием этих серых, просветленных старостью до голубизны, глаз захотелось глубже заглянуть в себя и перечесть те страницы моей жизни, которые еще недавно казались содержательными и нужными. Это перечитывание я начал еще до поездки в Ясную Поляну, но с приезда оттуда оно пошло прилежней и занимательней. Этот взгляд на себя был мне очень нужен, и мне душевно полегчало после него. Мне захотелось результатом моей встречи с самим собой поделиться с тем человеком, кто несравненно сильнее меня испытывал на себе действие этих любяще-строгих старческих серых глаз. Это был мой старший друг Н.Н. Гусев. Вскоре после приезда из Ясной Поляны я послал ему в его Чердынскую ссылку письмо.

Эту выдержку из моего письма Гусев послал в Ясную Поляну Льву Николаевичу.

Только после смерти Льва Николаевича я узнал, что этим несколькими строками выпало счастье оставить какой-то след в его великой душе.

14 января 1910 г. Лев Николаевич писал Гусеву в то же Корепино, в ссылку:

“Только что собирался и все откладывал ответ на ваше письмо о Шашкове, милый Н.Н., как получил ваше второе письмо о Сереже. Спасибо большое вам, милый друг, что пишете часто. Мне всегда нужно и радостно знать о вас. На первое письмо хотелось сделать два замечания: первое то, что не поддавайтесь чувству раздражения на тех, кто делает все то, что тяжело нам, а берите пример с Сережи. Я смело советую это вам, потому что этот самый совет нужен мне, может быть, больше, чем вам. Всегда борюсь с этим недобрым чувством осуждения”.

“Сережа”, о котором это писалось, читал это с двойным чувством — радости и стыда. Радостно было мне, единственный раз в жизни бывшему у Толстого, слышать из его уст это дедовское “Сережа”: так много ласки было в этом великом старом сердце и так кровно близок был ему всякий человек, не лишенный хотя бы мало роста любви к истине, — радостно, но еще более стыдно! В своем смиренном великом писателе, неуклонном изыскателе истины, не только своему другу предлагал “брать пример с Сережи”, но и сам готов был первый следовать этому “примеру”!

А этот самый “Сережа”, читая это со стыдом тогда, и еще с большим стыдом перечитывая теперь, чувствовал про себя, что если и мог бы быть “примером”, то только примером человека, с которого никому и ни в чем не следовало брать примера. И тем стыднее было это читать, что то, что Львом Николаевичем бралось от “Сережи” в “пример” Гусеву и себе самому — самые мысли и настроение “Сережиного” письма, — было в значительной степени взято от духовного богатства самого Льва Николаевича — из его сочинений и от личного общения с ним. Со времени письма Толстого к Гусеву прошло восемнадцать лет, но до сих пор оно остается одним из самых сладких и вместе с тем стыдных воспоминаний моей жизни.

Между моим посещением Ясной Поляны и кончиной Льва Николаевича прошел всего год. В течение этого года я, как и прежде, записывал “вести из Ясной Поляны”, которые доходили до меня от тех людей, которые приезжали оттуда после общения с Львом Николаевичем. Вот некоторые из моих памяток за этот последний год жизни Льва Николаевича.

Вот памятка со слов П.И. Бирюкова.

В 1910 году в присутствии Льва Николаевича рассказывали о патриотическом обеде, данном на дворянском собрании в Туле. Один из обеденных ораторов, при общем восторге участников обеда, воскликнул:

— За веру мы готовы на костер, за отечество — на плаху, за царя — на смерть...

— А за двугривенный — куда угодно, — тихо закончил Лев Николаевич.

Весной и летом 1910 года Лев Николаевич дважды выезжал из Ясной Поляны — ездил к Черткову в Крекшино (через Москву), к Сухотиным в Кочеты, в Столбовую. Как-то, в одну из поездок, он сидел, дожидаясь поезда, на железнодорожной платформе. Рядом с ним на лавочке сидели его спутники и много публики. Какой-то пожилой мужик, — как после оказалось, слепой, — услышав, что здесь находится Толстой, встал со скамейки (он сидел с краю) и, несмотря на недовольные замечания сидевших, упрямо продвигался вдоль скамейки, дотрагиваясь рукою до каждого из сидевших и приговаривая:

— Который Толстов-то? Ты не Толстов?

Когда очередь дошла до Льва Николаевича, он сам назвал себя.

Мужик сказал серьезно и печально:

— Что ж ты, Толстов, смотришь? Ведь беспорядки! Сына моего зря держат.

Никто ничего не понимал. Оказалось из расспросов, что слепой жаловался на какие-то беспорядки в психиатрической лечебнице, где у него находился родной сын. В представлении мужика “Толстов” был как бы верховным попечителем и надзирателем за правдой в русском государстве, и у попечителя этого власть была так велика, что он всюду мог и должен был прекращать всякую неправду.

Не хочется обойти памятку, сделанную на основании рассказа покойного Сергея Дмитриевича Николаева (1861—1920 г.), известного переводчика Генри Джорджа. Друг Льва Николаевича, человек большого сердца и точной мысли, он летом 1910 г. жил с семьей в близком соседстве с Ясной Поляной и много общался с Львом Николаевичем. Он передавал последние свои разговоры с ним о религии. Сергея Дмитриевича поразило, что Лев Николаевич, некогда озаглавивший свою знаменитую книгу “В чем моя вера?”, теперь избегал этого слова, отвергая религию, как веру, и противопоставляя ей религию, как сознание. Однажды, говоря на эти темы, Сергей Дмитриевич выразился:

— То, что открыл мне о Боге Христос...

Лев Николаевич остановил его и сказал твердо:

— То, что я знаю о Боге и любви, мне сказал вовсе не Христос. Это сказал мне Лев Николаевич. Бог не есть вера, а точнейшее, достовернейшее знание.

Николаев был поражен и просил разъяснений. Смысл дальнейших речей Льва Николаевича был тот, что в душе каждого человека лежит божественное начало и сознание Бога. Никто извне, — даже сам Христос, — не может открыть человеку это начало и это сознание помимо самого их носителя, т.е. каждого отдельного человека, Льва Николаевича, Сергея Дмитриевича и т.д.

Бессмертная душа каждого человека, помощью его свободной воли, открывает ему с очевидной ясностью, что в ней живет Бог. Таким образом, существует не вера, а знание о Боге, и это знание каждый человек приобретает от себя, и никто другой не может дать ему этого знания.

Поразившие его слова, — как это часто бывает, — благодаря их резко запечатлевающейся, необычной форме, Николаев запомнил слово в слово. Дальнейшая же беседа с Львом Николаевичем была передана им уже без сохранения оболочки, но с той верностью ее основному смыслу, которая так естественна была для Николаева, человека ясного мышления и большой любви к Льву Николаевичу.

Две следующих записи были мною сделаны на основе сообщения также покойного Петра Прокофьевича Картушина (умер в 1916 г.). Это был замечательный человек. Биограф Толстого не обойдет его молчанием. В 1907—1910 гг. он много общался и переписывался с Львом Николаевичем. Я помню одно письмо Льва Николаевича к Картушину, в котором Толстой писал, что завидует ему, завидует в том, что Картушин в молодости пришел к тому, к чему с таким трудом самому Толстому удалось придти только к старости.

Черноморский казак, красавец, невысокого роста, цветущего здоровья, обладавший независимыми и довольно значительными средствами к жизни, Картушин испытал глубокий душевный переворот: он оставил все и пошел к Толстому искать правды. Свои средства в 1906-7 гг. он давал на дешевое издание самых крайних сочинений Толстого, которые не печатал даже “Посредник” из опасений правительственных кар: на деньги Картушина издательство “Обновление” издало “Приближение конца”, “Солдатскую” и “Офицерскую памятки”, “Конец века”, “Рабство нашего времени” и т.д. Сам Картушин вел жизнь добровольного бедняка. В письмах друзьям он нередко просил: “помоги, брат, освободиться от денег”. И, действительно, от них освобождался: его деньги шли на дешевые издания прекрасных книг, вечного значения, на бесплатную их раздачу, на поддержку людей, желающих “сесть на землю”, т.е. заняться земельным трудом, и на множество других добрых дел. Но этот человек кристальной души не нашел себе религиозного покоя и у Толстого. В 1910—1911 гг. он увлекся жизнью Александра Добролюбова. Некогда зачинатель русского символизма, “первый русский декадент”, Добролюбов (род. 1875 г.) сделался послушником в Соловецком монастыре, а в конце концов принял подвиг странника, исчезнув в русском мужицком море. Картушина привлекало в Добролюбове и это его странничество, и его участие в тяжелом народном труде (Добролюбов работал безмездным батраком у крестьян), и его религиозное учение, в котором высота нравственных требований соединялась с

духовной глубиной и поэтической красотой внешнего выражения. Но, полюбив Добролюбова, Картушин не разлюбил Толстого: разлюбить кого бы то ни было, а тем более Толстого, было не в природе этого прекрасного, нежно и глубоко любящего человека.

И вот одним из заветных желаний Картушина стало сблизить Толстого с учением Добролюбова, которого, впрочем, Лев Николаевич знал лично. Толстой встретил Картушина, как всегда, ласково и любовно.

Картушин долго и много говорил Льву Николаевичу о жизни и учении Добролюбова, вкладывая в свои слова всю душу. Он особенно подробно остановился на мысли, что учение Добролюбова, по высоте и характеру нравственных требований, вполне родные тому учению, которому следует сам Лев Николаевич: Добролюбов также отрицает насилие во всех видах и формах, насилие государственное, религиозное, общественное, личное, также в основу всего кладет закон любви, так же, как Толстой, утверждает, что истинная религиозная жизнь невозможна для того, кто не стремится жить “трудами рук своих”, кто не стремится к половому воздержанию и т.д. Но, — выражал Картушин свою мысль, — Добролюбов понял еще невыразимую никаким словом тайну религиозного существования души, и потому он ищет внутреннего подвига молчания, как безмолвного озарения души неведомым, кому нет имени, и потому он пытается найти такие формы религиозного общения между людьми, которые не поддаются никакому рассудочному изображению и учету. Добролюбов верит, что внешний мир — это лишь книга “невидимая”, открывающая иное, высшее бытие, и что самый этот внешний мир жаждет скинуть ветхую внешнюю одежду, облекающую его, и получить бессмертие в новом преображенном бытии.³⁶

Лев Николаевич внимательно, молча, слушал, не перебивая ни одним словом. Когда Картушин кончил, он коротко сказал:

— Я себе нашел, а вы — ищите!

И через малое время добавил:

— Впрочем, я не возражаю против Добролюбова. Я знаю, придет время, когда те религиозные учения, которые кажутся нам теперь возвышенными, как, например, буддизм или христианство, будут казаться людям слишком грубыми и внешними. Тем более грубыми и внешними могут показаться им мои писания.³⁷

П.П. Картушин передавал мне одно свое наблюдение над Львом Николаевичем за последнее время перед его смертью и одно, слышанное им, признание самого Льва Николаевича. И то, и другое представляются мне очень важными.

Общаясь с Толстым, Картушин заметил последнее время следующее.

В разговорах о лицах, давно ему известных, случалось, он путал одного с другим, ошибался в имени, отчестве, фамилии, профессии, внешнем виде и других подобных внешних отличиях одного лица от другого; но в то же время Картушин был поражен тем, что, путая все это внешнее в хорошо известных ему людях, он никогда не путал людей одного духовного склада с людьми другого нравственного уклада, иными словами, духовные

личности людей он хорошо и точно помнил, а во всем внешнем, случилось, делал ошибки.

Картушин высказал это самому Льву Николаевичу. Лев Николаевич подтвердил ему, что это так и есть, что он часто и сам ловит себя на том, что спутал NN и NN и смущается этим, так как “спутанные” могут этим обидеться, да и обижаются. А между тем он чувствует, что их внутренне не спутал, знает и любит. Говоря математическим языком, он вынес во многих отдельных людях за скобки то, что в них есть духовно-общего, и прекрасного, вынес за скобки то, что людей данного духовного склада объединяет в один духовный тип, а внутри скобок осталось лишь то, что разъединяет людей данного духовного типа: различия национальные, общественные, имена, фамилии, возраст и проч. Люди одного духовного склада кажутся ему все на одно лицо. Он любит это лицо, помнит и всегда узнает этот их “склад” и “уклад” душевный, но во всем остальном путает их одного с другим.

Я легко понял Картушина: так же, как этих многих, Лев Николаевич забыл и Гаршина. И на мой вопрос в 1909 г., отвечал, с одной стороны, что — “ничего не помню. Забыл”, а с другой стороны, что “помнит”: — “что-то прекрасное, чистое, доброе, страдающее”. Забыл слова, поступки, походку, все внешнее, помнит — душу, помнит то, почти неопределимое словами, внутреннее, что есть основа человека.³⁸

Мне представляется теперь, что наблюдение чуткого Картушина и признание самого Льва Николаевича, — да и слова его о Гаршине, — дают возможность понять глубже еще одну, чрезвычайно важную особенность религиозной мысли Толстого и его суждений о различных религиозных учениях и их основателях.

В 1912 г. я часто общался с человеком, очень примечательным. Это был японец Даниил Павлович Конисси, профессор старейшего японского университета в Киото. Он еще в Японии, под влиянием архиепископа Николая Японского, принял православие, овладел русским языком; затем приехал в Россию, обучался в Киевской духовной академии, потом бывал на лекциях в Московском университете. В начале 1890-х гг. Конисси познакомился с Влад. С. Соловьевым и Л.Н. Толстым. В “Вопросах философии и психологии” он поместил свои переводы любимых Толстым китайских мыслителей — Лао-Си и Конфуция, причем в его переводе Лао-Си принимал участие сам Толстой, сверяя перевод Конисси с подлинника с лучшими переводами Лао-Си на европейские языки.³⁹ Конисси посещал Толстого и беседовал с ним; Толстой относился к нему тепло и сочувственно.⁴⁰ Конисси много рассказывал мне в 1912 г. о Толстом. Один рассказ я записал тогда же. Вот он.

Однажды Лев Николаевич долго расспрашивал Конисси об его семье, детстве, воспитании, и слушая его рассказ о том, как он случайно забрел в православную миссию на беседу архиеп. Николая о Христе, как эта беседа произвела на него сильное впечатление и он стал посещать миссию, где и принял православие. Лев Николаевич внимательно слушал. Когда Конисси кончил свой рассказ, он сказал, что все-таки не понимает, почему Конисси сделался православным христианином.

— Зачем вам это было нужно? — спросил он. — У вас, у японцев и у китайцев, есть свои великие мудрецы, у вас есть Конфуций, Лао-Тзе, Ми-Ти. Они проповедовали религиозное учение, которое, по своей высоте и чистоте, не ниже и ничем не отличается в самом важном от христианского. Тот же закон любви, как там, так и здесь. У вас все было, что нужно. Я не понимаю, зачем вам нужно было переходить в христианство?⁴¹

Свой ответ Толстому Конисси передавал с волнением:

— Я очень волновался: как я буду возражать гению? Но я должен был возразить. Я сказал Льву Николаевичу: я знаю нравственное учение Конфуция и Лао-Си, я его считаю возвышенным, но никто из них не жил так, как Христос.

Л.Н. перебил меня вопросом:

— А зачем нужно знать, как он жил? Мы этого не можем знать и нам это не нужно. Важна не жизнь Христа, важно учение.

— Нет, — возразил я ему, — мне важно было знать, не только, как он жил, но и как он умер. И у Конфуция, и у Лао-Си учение возвышенно и прекрасно, но они жили и умерли, как все. А Христос и жил, и умер не как все: один он простил на кресте своих врагов. Никто из мудрецов так не сделал. Когда я узнал, как Христос умирал и прощал врагов на кресте, я понял, что его учение выше Конфуция и Лао-Си, и я принял христианство.

“На это Лев Николаевич ничего мне не ответил, и, помолчав, мы перешли в разговоре на другое”.

Молчание, заключившее эту часть разговора Толстого и Конисси, понятно. Тут встретились два противоположные религиозные понимания, и каждый остался при своем. Для Конисси Христос — божественная личность, и важны ее дела; для Толстого Христос — источник учения, и важно это учение. Для Конисси личность Христа есть опорный факт его христианства; для Толстого учение Христа есть опорный факт его христианства. Но учением своим, по мнению Толстого, христианство, в основе своей, совпадает со всеми великими религиозными учениями человечества, и чем сильнее и теснее река христианского учения вливается в океан вселенского религиозного сознания, чем целительней вносимые ею туда воды, тем менее примечателен, сам по себе, тот исток, откуда потекли эти воды. Такое убеждение жило в Толстом еще до времени его религиозного перелома в начала 1880-х гг.

У него был великий интерес к христианскому учению и отсутствовал интерес к личности Христа (все равно — к божественной или человеческой). Прочтя “Жизнь Иисуса” Ренана, Толстой писал Страхову: “Для нас все человеческие унижающие реалистические подробности исчезли потому же, почему исчезли все подробности обо всех, живших когда-нибудь жидях и др. потому, почему все исчезает, что не вечно, т.е. песок, который не нужен, промыт, осталось золото, по неизменному закону: кажется, что же делать людям, как не брать это золото? Нет. Ренан говорит, что если есть золото, то был и песок, и он старается найти, какой был песок”.⁴² “Песок” личности основателя религии может только мешать распознаванию “золота” принесенного им религиозного учения”. Эта мысль особенно ярко выражена Толстым в 1899 г. Он прочел книгу (Неразборчиво. — Ред.) пытающуюся доказать, что Христос —

миф⁴³. и одновременно с ней прочел противоположную книгу Дж. Кеннворти, английского пастора, излагающего жизнь Христа, и записал в дневнике: “Христос — миф; и книга Кеннворти — разумное изложение жизни Христа. Первое — лучше. Нужна метафизика нравственной экономики, т.е. религиозная истина. Она есть”.⁴⁴ Делясь своим впечатлением от книги (Неразборчиво. — Ред.), Толстой писал Бирюкову: “Это предположение (что “Христос — миф”. — С.Д.) или вероятность есть уничтожение последних, подлежащих нападению врагов, предместий для того, чтобы крепость нравственного учения добра, вытекающего не из одного временного и местного источника, а из совокупности всей духовной жизни человечества, была бы непоколебима”⁴⁵ Отговаривая писателя И.Ф. Наживина от намерения написать “Жизнь Иисуса”, Лев Николаевич писал в 1903 г.: “Я не только не желал бы прибавить подробности жизни Христа, но желал бы откинуть и те, которые есть”.⁴⁶

В свете этих признаний, с удивительным постоянством делаемых на протяжении 30 лет, ответ Толстого Конисси делается совершенно ясен. Его можно выразить словами из письма Льва Николаевича, в котором он противится писанию своей биографии.⁴⁷ “Оставим в покое личности и будем их разрабатывать, делая их ясными и доступными всем, истины, которые открыты нам”.

Не надо знать жизнь Христа — надо знать и любить его учение; не надо выделять это учение из числа других религиозных учений; надо искать в них общее и единое: оно-то и есть самое высокое и прекрасное — вот окончательный итог мысли Толстого. Но к такому же итогу стремился и его жизненный опыт. Как различные “учения” религиозные Толстой, к концу жизни, осознавая в их единстве, а не в многообразии, так и отдельных людей он начинал видеть не в их отдельности и личной

обособленности, а во внутреннем, объединяющем высшем начале их бытия.

Лица, фамилии, профессии отдельных людей, весь бесчисленный биографический “песок” Лев Николаевич путал: под конец жизни ему труднее и труднее становилось запоминать различия тех или других, крупных или мелких, “песчинок”, но тем зорче и вернее выделял он из песка чистое “золото” — вечное и нетленное в их душах и объединял и запоминал своих знакомцев не по признакам их “песка”, но по признаку их “золота”. Он забыл, что Гаршин ходил к Лорис-Меликову, что посещал Ясную Поляну, что беседовал с ним, с Толстым, что делал то, другое, третье, он забыл весь песок гаршинской биографии, но подлинное ее золото он помнил отлично: он помнил, что Гаршин — “прекрасный, чистый, добрый, страдающий”, он помнил, что “Четыре дня” диктованы великой совестью, и жалел, что не поместил этого рассказа в “Круге чтения”.

Так же оставался верен себе Лев Николаевич и в движении своей религиозной мысли, и в строе своих жизненных отношений: в том, что он “не желал бы прибавить подробности о жизни Христа, но желал бы откинуть и те, которые есть” (см. выше), выразился тот же Толстой, который в конце жизни путал отдельных знакомцев своих по “песку” их биографий, но распознавал их по “золоту” внутреннего богатства.

V

Уход Льва Николаевича из Ясной Поляны произвел на меня потрясающее впечатление, и я настолько не одинок был в своем впечатлении, что это дает мне право писать о нем.

Я еще сидел над газетой, перечитывая в десятый раз известие о ночном “уходе” Льва Николаевича из Ясной Поляны, когда ко мне вбежал поэт Ю.П. Анисимов, крича:

— Ты знаешь: Толстой ушел!

“Уход” Толстого для нас был величайшим событием, — таким, примерно, как если б гора, настоящая гора, действительно, двинулась бы куда-то, по евангельскому слову.

Ушел! Он ушел!

Теперешним поколениям трудно понять, что значило это для нас. Толстой действительно представлялся не нам только, а всему русскому обществу огромной высочайшей горой, предельной вершиной русского народа и русской культуры. Подошвы этой горы, ее склоны, ее скалы, утесы, ручьи, водопады, леса, луга — все было великолепно и единственно; ее вершина сияла ослепительно алмазами своих вечных — воистину и несомненно вечных — снегов, вознося их в синее, тоже вечное небо. Высота этой горы и чистота этих снегов личности и учения Толстого была несомненна, непререкаема и очевидна для всех нас. Но мы, люди русской равнины 1890-х и 1900-х годов, не поднимающиеся выше подошв этой горы, мы не могли не думать: “Гора прекрасна и высока, снега ее чисты и белы, но она одинока и недоступна, а снега холодны, — и наша равнина по-прежнему остается во мраке и унынии: гора не сходит в равнину”.

Мы, — даже те, кто, как я, не могли оправдываться полным незнанием Льва Николаевича, — мы стояли перед Толстым, как пред горой, которая, сияя и сверкая вечными снегами, молчала на один наш вопрос. — Для меня он слагался так: “Вот все, кто заимствовали от него, как от горы, лишь малую долю чистых алмазов его мыслей и чувств, все, как милый мой Картушин, как десятки и сотни других людей, все стремятся осуществить, исполнить то, чему он учит: бросают свои семьи, отказываются от денег, от преимуществ образования, от общественного положения, и уходят, как нищие, как странники, взыскивать невидимого града правды и любви, уходят, тонут в народном море, разделяя все его невзгоды и труды, все уходят, — а он, источник и первый двигатель этих “уходов”, он остается неподвижен: живет в осуждаемой им же самим сытой усадьбе, в условиях жизни, столько раз им обличенных, и никуда не уходит.

“...Неужели же, думалось, неужели же он, гора, не сделает того, что делают холмики и бугорки?” В этом раздумье и вопросе у меня лично не было ни малейшего осуждения Толстому. В этом было страстное, почти религиозное ожидание. Казалось, если бы он это сделал, если б гора тронулась, равнина не могла бы остаться мертвой, в ней загорелся бы огонь новой жизни.

Что это было не мое только одинокое чувство, а чувство многих и многих в русском обществе 1900-х гг., свидетельствует замечательное письмо некоего студента Бориса Манджоса, в котором он в первой половине 1910 года обращался к Толстому: “Вы пишете в одном из своих сочинений о всех своих исканиях правды и Бога. А что, если вы прошли все шаги в своих исканиях и не сделали только одного, последнего, чтобы спасти человечество?... Голубчик, дорогой, на коленях и со слезами умоляю вас... Почему вы, образец для нас и учитель, не отказались от самого себя? Почему вы не сделали самого последнего и главного? Почему вы не облекли в плоть и кровь

велики[идей? Почему?... Оставайтесь нищим без копейки денег, и пробирайтесь из города в город. Откажитесь от себя... Я глубоко убежден: что тогда родятся на свет новые искренние, хорошие люди, что тогда возродится религия, что тогда будут искать идеала, и сухая холодная современная жизнь делается действительно периодом нео-христианства”.48

Теперь, после “ухода”, после 18 лет изучения последнего периода жизни Толстого, теперь мы знаем, что сам Толстой знал, чего хотели от него мы, любившие его или удивлявшиеся ему, и сам давно и глубоко хотел того же. В ответ этому же студенту он писал: “Ваше письмо глубоко тронул меня. То, что вы мне советуете сделать? составляет заветную мечту мою... Нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета”.49

Теперь все знают это, но тогда это знали, быть может, 4—5 человек во всем мире. Для всех же гора оставалась по-прежнему великолепной и по-прежнему неподвижной. И в русском обществе образовалось такое отношение к Толстому: “Да, великолепно все, что он говорит, но сам же он показал, как далеко это от жизни: вот, и у него, у кого такая была и есть сила сказать, нет силы исполнить”. Я так не говорил и не думал: после посещения Ясной Поляны я понял, как безмерно тяжело ему его сиденье в “сытой усадьбе”. Но и я думал примерно так: “Что ж! Прекрасно и его сиденье там; он стар; ему 82; он слаб; даже поездка в Москву приводит его к болезни; он уже не уйдет никуда; хорошо было бы и то уж, если б как можно дольше продолжалось его яснополянское сиденье”. Я понимал, сколько добра в его ежедневном, невидном труде, во всем, что исходит от него, я жалел и любил его... но... но одна мечта, религиозная мечта, с грустью и скорбью была похоронена навеки: мечта-надежда на то, что он встанет и пойдет, и этот его шаг ухода даст мощное религиозное эхо и разбудит духовно спящих, русское общество и культуру. Хотелось, — до тоски, до отчаянья

хотелось, — услышать эти будящие совесть, как грозные “шаги командора”, тихие старческие шаги его, со страннической котомкой, по необъятным русским полям. Эта мечта была так прочно погребена, что рука моя не поднялась бы написать Толстому то, что написал не знавший его лично студент: зачем причинять ему боль? Не уйдет. Скорбя и болезнью, доживает в Ясной Поляне. Умрет, не уйдя. Какие уж тут “шаги командора”! 82 года. Старость. Болезнь. Нemoшь.

Гора останется горою: прекрасна и неподвижна. И вдруг это известие, невероятное, безумное: гора тронулась с места. Шаги командора раздались. Ушел! Он ушел!

Вдруг совсем новое значение получили его 82 года, старость, болезнь: старик, великий сиделец Ясной Поляны, которому — ах, будем же добры и справедливы к нему! — которому и лета, и болезнь, и семья, и труды, и долголетняя привычка, — все, казалось бы, разрешало сидеть там, где с такой славой сидел он больше полувека, — он ушел! “Всё-таки вертится”. Он ушел: ночью, тайно, безвестно.

А мы, — мы, молодые, ничем не связанные, легкие на подъем, мы недвижны.

Ушел! Куда? Конечно, в путь подвига, в путь труда и испытания. И неизвестно, куда. В народное море, на самое дно.

К чему-то светлому, светлому, в какой-то неведомый, строящийся град Добра и Красоты.

И сразу же засверкал вывод-вопрос: ушел он — с 82 годами: может быть, и мы сможем сдвинуться с места и уйти от своих университетов, рефератов, стихов, всевозможных и невозможных “-измов”, маленьких кружков с большими претензиями, от умных и неумных “слов, слов, слов”, от внутреннего и внешнего безделья, от даром тратимой молодости? И не только мы, но все, все, кто упрекали его рачительной Софьей Андреевной, хозяйственно продающей его сочинения, всё русское общество, — может быть, и все мы тоже “уйдем” куда-то от нашей “Софье Андреевны” — от внутренней лжи, безрелигиозной пошлости, от самодовольной неподвижности нашей общей жизни?

В те дни, когда было только известно, что Толстой “ушел”, но не было известно еще ни про Оптину, ни про Шамордино, ни про Астапово, — “уход” Толстого казался, повторяю, величайшим событием, таинственнодвигающим всю русскую жизнь и культуру. Это именно гора, высшая точка России, ее ледяная вершина, сдвинулась с места и пошла к неведомому пророку.

Помню, в промежуток между первым известием об “уходе” и первым же известием об “Астапово”, состоялось заседание московского “Религиозно-философского Общества памяти Владимира Соловьева”. Случилось так, что доклад, пришедшийся на это заседание, был доклад Андрея Белого “Трагедия творчества. Достоевский и Толстой”. На докладе была куча народу. Тут был Струве, Брюсов, М. Волошин, Эллис, кн. Евгений Трубецкой, С.Н. Булгаков, Бердяев, С. Котляревский, Эрн и др. “Уход” Толстого был в мыслях и подмыслях всех присутствовавших и говоривших. Только один из последних, поэт Эллис, заявил, что напрасно в Достоевском и Толстом видят каких-то пророков, что пророки бывают не такие, а вот какие (следовало описание пророка по “Теократии” Вл. Соловьева) и что пророки не кощунствуют, а Толстой кощунствовал (он имел в

виду известную главу в “Воскресении”). Это был единственный выпад против Толстого в Обществе, где, говоря вообще, “Толстого мыслителя не любили”. Но этот выпад встретил резкую отповедь со стороны П.В. Струве. “— Кощунником, — говорил он, — можно назвать лишь того, кто, веруя во что-нибудь, сам же глумится над предметом своей веры, кто, признавая нечто святыней, сам же оскорбляет эту святыню. (Струве сослался на пример В.В. Розанова). Толстой же не верит и говорит, что не верит в то, над чем он, по вашим словам, кощунствует”. Наоборот, его отношение к предмету его веры, к его святыне, поражает своей серьезностью, своим величайшим благоговением, суровым служением своей истине.

Докладчик, А. Белый, говорил с редким воодушевлением о необходимости религиозного искусства, со страстным натиском утверждал его неизбежность и признавал, вслед за Толстым, что искусство возможно только на религиозном основании и что истинно великое искусство всегда и насквозь религиозно.

Тогда, помню, встал, весь застегнутый, в черном сюртуке, холодный и резкий, Брюсов и, держась за спинку стула, отчеканил:

— Все признают, что наука автономна от религии, что философия независима от религии, что политика имеет свои основания, отличные от религиозных. Почему же одно искусство так несчастно, что не может существовать самостоятельно и нуждаться в подпорках религии?

Белый обрушился на Брюсова. Брюсов был одинок в тот вечер. “Уход” Толстого предрешал и, казалось, разрешал вопрос об отношениях религии и искусства. Если тот, кто обладал

искусством “Войны и мира”, не мог ограничиться этим обладанием, а вот ночью, тайком, ушел в неведомую даль, не за искусством же!, а как пушкинский “Странник”, навстречу Божественному голосу, звавшему его неодолимо, — то к чему еще спорить о том, может ли искусство не нуждаться в религии и в силах ли художник подлинный обойтись без Бога? Это был замечательный вечер. Говорили, говорили; спорили, спорили со всем блеском таланта и тонкой культуры, а в душе у каждого, — я верю и почти знаю, что у каждого, — поднимался вопрос: “а он что? Где он теперь? Куда он идет? И почему мы — не идем?”

Было и радостно и стыдно.

Казалось: вот, вот, еще миг, еще усилие, — и наши горки, пригорки, холмики и бугорки так же, как его великая гора, перестанут быть неподвижными, и движутся на зов неведомого пророка, вестителя Бога, в какую-то новую страну благого и вечного делания.

Я шел по Арбату утром. Бежали стремглав мальчишки с пуками телеграмм, с криком:

— Толстой умер!

Это было ужасно.

Обрывалась величайшая, святейшая надежда, которую давал “уход” Толстого: увидеть яркое горение Толстого на вселенском вольном воздухе, а не в смертной атмосфере “сытой усадьбы”, откуда он бежал.

Я сжимал в руках телеграммы. Сердце больно билось. “Улица” — прохожие, проезжие, с тротуара, с мостовой, с пролетов извозчиков, из окон трамваев, из дверей магазинов — рвала из рук газетчиков, удвоившихся в числе за толстовские дни, телеграммы и газеты. Они брались с бою. Те, кто не успел купить, заглядывали в чужие газеты, нагоняли прохожих, читавших газету на ходу, и на ходу же, не отставая, через голову читавшего, прочитывали сами известие из Астапово, или на ходу спрашивали у читавших: “Правда ли: Толстой умер?” Такое нападение на газетчиков и жажду вестей, какое было в день смерти Толстого, я видел в жизни еще только один раз: в день объявления войны Германией в 1914 г.

В канун похорон Льва Николаевича у меня не было ни копейки денег: я не мог поехать в Ясную Поляну. И человек, мне не близкий, сказал мне: “Как же можно не ехать! Вы должны ехать. Вот вам деньги”.

На Курском вокзале было столпотворение. К счастью, я взял билет на городской станции. Громадное большинство жаждущих попасть на Козловку-Засеку — попасть не могло: дополнительных поездов или не было вовсе (не помню хорошо), или был всего один. Вагонов добавочных не давали. Пытались ехать кружным путем, через Брянскую и Павелецкую линии, с пересадкой на Тулу, но это было безнадежно: они не попали бы к похоронам. Проще было бы: нанять автомобиль и мчаться в Ясную, но автомобили были наперечет и очень дороги (так

проехали в Ясную Брюсов и депутация Литературно-Художественного кружка).

В вагоне никто не спал. Был сплошной разговор про Толстого. Вслушиваясь в разговоры ехавших, я поразился большому числу самых различных людей, лично знавших Толстого. Конечно, это был человек, имевший наибольшую в мире личную связь с людьми.

Еще не настало хмурое утро, как поезд подошел к Засеке. Было уныло на душе. Толпы народа ждали прихода поезда из Астапова. Студенты-распорядители пытались завести какой-то порядок. Ничего этого было не нужно. Все были подавлены и хмуры. Над всеми было тихое уныние — над людьми и ноябрьской природой. Вот и поезд из Астапова. К платформе подошел он как-то особенно тихо, будто со стыдом, что возвращает сюда прах того, кого увез недавно отсюда еще полного жизни, с душой, жаждавшей нового бытия. Вагон, в котором было тело Льва Николаевича, был будничным товарный вагон, крашенный в унылый кирпичный цвет. Все обнажили головы. Была полная тишина.

Вот он, Лев Николаевич: простой гроб на руках сыновей и друзей.

Так не нужны и жалки казались венки, привезенные из Москвы депутатами. Ничего не нужно. Вот он, Лев Николаевич. Возвращается вновь в Ясную Поляну. Не надолго уходил от нас, но все-таки, все-таки: как хорошо, что уходил!

Слезы подступали к горлу.

Крестьяне Ясной Поляны подняли гроб. Скучный напев “Вечная память!” однообразно несся во всю дорогу до Ясной. И думалось: лучше бы нести его тихо, лучше бы дать ему тихо войти в Ясную Поляну, как тихо он из нее ушел.

Разные были лица в толпах и тысячах, шедших за его гробом.

Я помню лицо Григория Петрова, бывшего священника; помню сосредоточенные лица Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.А. Рачинского; помню писателей, студентов, рабочих, крестьян; помню стариков, подростков, почти детей; и разное было на этих лицах: была печаль, были слезы, было одинокое уныние; было и праздное любопытство; было и желание хоть здесь, за гробом, настигнуть великого человека и взглянуть на него; но были и сдерживаемые слезы умиления и горя, и глубокая беспокойная скорбь, и, — что отличительней всего было для этих похорон, — была в некоторых лицах и грустная радость сквозь слезы. Я так переводил ее на язык слов: “Плачем, что никогда не услышим тебя, что ты бездыханным возвращаешься со страннического твоего пути, но слава Богу, что ты вышел на него. Спасибо тебе и за то, что пошел по нему. Может быть, и мы пойдем когда-нибудь. Когда позовет Бог”.

Этот перевод, думается, был верен, так как в других я переводил близкое к тому, что было тогда во мне самом.

А “бессмертная пошлость людская”, говоря словами любимого Толстым поэта, делала свое дело. Не могу без отвращения и

теперь вспомнить грубо-вежливого оклика, раздавшегося внезапно с одного из холмов и резанувшего, как ножом, осеннюю тишь природы и мудрую тишину последнего пути:

— Pardon! Одну минуту!

Это был оклик кинематографщика, желавшего “обессмертить” своим аппаратом⁵⁰ похоронное шествие: он желал только “на одну минуту” задержать последний путь Толстого! Кто-то с негодованием прикрикнул на него. Шествие не остановилось. Я вспомнил ужас Льва Николаевича перед всякими кинематографщиками, граммофонщиками и прочими цивилизаторами.

Тихо, тихо приближался Толстой к Ясной Поляне. У ворот усадьбы было настоящее море народное — любезное Толстому мужицкое море. И его гроб потонул в этом море.

Я поклонился ему земно.

Мне не хотелось ни “прощаться”, ни ждать опускания в землю, — всего того, без чего не уходишь с обычных похорон. Как я не пошел бы искать его живого на том дне народного моря, на которое он хотел уйти, так не хотелось и теперь пробираться к его гробу через эти волны мужицкого моря. Чувствовалась только бесконечная, бесконечная благодарность к нему — и она была так жива, и он был так жив, так несомненен в своей жизненности, что эта жизнь, это живое, связывалось не с могилой в Заказе, а скорее с Астаповым, с местом его случайного смертного привала на неслучайном великом

странническом пути, а еще скорее, связывалось со всей Россией, куда лежал этот путь, и больше, чем с Россией: с чем-то огромным и светлым, как вселенная. Я поклонился ему еще раз издали, и вышел из толпы.

Москва 1909 г. Томск 1928 г.

Надпись на первой странице рукописи:

“При жизни С.Н. Дурылин отдал свою работу в “ЛИТНАСЛЕДСТВО” в 1950 году И.С. Зильберштейну, для того чтобы поместить в том о Л.Н. Толстом; работа Дурылина не была напечатана.

Воспоминания С.Н. Дурылина не напечатаны по мотиву отказа, что С.Н. отказался переделать конец своих воспоминаний об уходе Л.Н. Толстого. Воспоминания написаны в 1928 и 2-ды пытались С.Н. сговорить на переделку конца. Редакция нашла нужным лучше не печатать.

В 1960 году 30 сентября рукопись вернули жене И. Комиссаровой-Дурылиной”.

Надпись на последней странице рукописи:

“С.Н. Дурылин. Несократившийся экз.

Потом подготовил к печати, с тем, чтобы поместить в юбилейный том. Не раз при жизни своей пытался напечатать, так и не напечатали. Больше он отказался переделывать и сокращать, отчего терялся полный смысл работы. Наотрез отказался переделывать и сокращать. Не напечатали”.

Примечания С.Н. Дурылина

1 Некоторые из моих записей были уже напечатаны в журнале “Путь” (1913 г. № 8), но я не решаюсь их перепечатать здесь по следующим причинам: 1) я печатаю их здесь в более полном виде, 2) печатаю без искажений, сделанных ради цензуры, и 3) журнал “Путь” был настолько мало распространён, что напечатанная в нём статья моя “Из памяток о Л.Н. Толстом” не имеется даже в библиотеке Толстовского музея.

2 В своих воспоминаниях о Толстом В.А. Молочников рассказывает о другом, подобном же ответе Льва Н-ча тому же Кузьмину. Кузьмин упрекнул Льва Н-ча: — Вот вы анархист, а обращаетесь к Столыпину с просьбами за того, за другого, с проектом земельной реформы. И к царю обращались. Какой же вы в таком случае анархист?

“Значит, я не анархист, — ответил Толстой, — значит, я просто человек”. (В. Молочников. “Свет и тени”. Сб. “Толстой и Толстом”.

Новые материалы. Сб. III. М., 1927 г., стр. 68.)

3 В 1909 г. он писал об этом же в “Свободном воспитании”, в письме к В.Ф. Булгакову: “Для того, чтобы образование было плодотворно, т.е. содействовало бы движению человечества к все большему и большему благу, нужно, чтобы образование было свободно. Для того же, чтобы образование, будучи свободно как для учащихся, так и для учащихся, не было собранием произвольно выбранных, ненужных, несвоевременно передаваемых и даже вредных знаний, нужно, чтобы у обучающихся, так же как у обучаемых, было общее и тем и другим основание, вследствие которого избирались бы для изучения и для преподавания наиболее нужные для разумной жизни людей знания... Таким основанием всегда было и не может не быть ни что другое, как одинаково признаваемое... как обучающими, так и обучаемыми понимание смысла и назначения человеческой жизни, т.е. “религия”.

4 У Льва Николаевича было отвращение к всяким изобретениям в роде фонографов и граммофонов. Об этом посещении граммофонщиков Л.Н. писал Гусеву 20. IX. 1909 г. — в день моего посещения, что фонографщики его “заставляли (курсив самого Л.Н.) говорить”. В 1903 г. З.Х. Л.Н. писал Стасову: “Ради нашей дружбы бросьте это дело и избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это ужасно неприятно, и я решительно (Фраза обрывается. Так в рукописи. — Ред.)

5 Вернее, двукратный проезд через Москву в сентябре 1909 г. “Москва устроила Толстому царские проводы, как и подобает Льву Великому”, — писал тогда А.С. Пругавин в “Речи” (№ от 24 сент. 1909). Прим. 1948 г.

6 Четвертый сын Л.Н. Толстого, род. 1877, ум. В 1916 г. Прим. 1928 г.

7 “Русская мысль” 1909 г., № 10.

8 Где работал секретарь Л.Н-ча Н.Н. Гусев, 4 августа 1909 г. высланный из Ясной Поляны на 2 года в ссылку в Чердынский у. Пермской губ. Прим. 1928 г.

9 Статья до ныне не напечатана. Прим. 1928 г.

10 Сколько знаю, письмо это также не напечатано. Прим. 1928 г.

11 Была напечатана под названием “Пора понять”. Прим. 1928 г.

12 Увы, Андрей Львович ошибся: лист нельзя было тянуть бесконечно. Лист разорвался всего через год: он разорвался ночью 28 окт. 1910 г. — дата “ухода” Льва Николаевича из Ясной Поляны и его письма к Софье Андреевне. Прим. 1928 г.

13 Сон этот произвел такое сильное впечатление на Льва Николаевича, что он в тот же день, 20 октября, писал Гусеву: “Всю нынешнюю ночь видел вас во сне, милый Н.Н., и видел, что вам хорошо, что у вас друзья, что вас ценят, и что мы с вами хорошо говорили”. (Н.Гусев из Ясной Поляны в Чердынь. М. 1911, стр. 44) Прим. 1928 г.

14 “Бог дал ее речам уверчивость и сладость”. (А.С. Пушкин. “Анджело”).

15 Газета, издававшаяся кн. В.П. Мещерским, крайне правая по направлению. Прим. 1928г.

16 Письмо студенту Крашенинникову, написанное 20 октября 1909 г. Помещено в XXIV т. Собр. соч. Толстого, изд. 1913 г. Прим. 1928 г.

17 Повесть — “Конь блед” В. Ропшина (Б.В. Савинкова), рассказ — “Белая березка” Ф. Сологуба, стихи — “Друзьям” А. Блока, “Отречение” В. Брюсова, “Сумерки” — А. Белого, “Петрухи” — З. Гиппиус, “Ужель мою святыню” — Д. Мережковского, “Иоанн Креститель” — С. Соловьева и “Ты — царь Решеткой золотою” Ф. Сологуба. В той же книжке “Русской мысли” остались не прочитанные Толстым очерки М. Пришвина “У стен града невидимого” и повесть Н. Тимковского “Под чахлом”. В отделе статей помещена большая (25—60 стр.) статья Льва Шестова “Разрушающий и созидаящий миры”. (По поводу 80-летнего юбилея Толстого). Статью эту автор кончает словами: “вероятно, статья эта не попадет на глаза Толстому... Но если попадет, он наверное скажет обо мне, как говорил о Ничше: “рака”, или безумный, не испугавшись ни синедриона, ни геенны огненной” (стр. 60). Автор вдвойне ошибся: статья его “попалась на глаза Толстому”, но, просмотрев ее, он не сказал ничего. Прим. 1928 г.

18 Осуждение Толстым стиля повести Ропшина продиктовано не только недовольством великого художника самою этою повестью, но вызвано, несомненно, еще и горячей любовью Льва Николаевича к деревенскому трудовому народу. Чтобы отчетливее представить, в чем обвинял Толстой Ропшина, я

приведу тот отрывок из “Коня блед”, который вызвал наибольшее отрицание Толстого. Отрывок типичен для всей повести.

“Я сажусь к Генриху в пролетку.

— Ну что, как дела?

— Да что, — качает он головой, — не легко; целый день под дождем на козлах.

Я говорю:

— Не легко, когда человек влюблен.

— Откуда вы знаете? — быстро оборачивается он ко мне.

— Что знаю? Я ничего не знаю и ничего знать не хочу.

— Вы, Жорж, всё смеетесь.

— Я не смеюсь.

Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги.
Кое-где уже какая зелень травы.

— Жорж.

— Ну?

— Жорж, ведь при противлении бывают иногда взрывы?

— Бывают.

— Значит, Эрну может взорвать?

— Может.

— Жорж?

— Ну?

— Почему вы поручаете ей?

— Ее специальность.

— Специальность?

— Да.

— А кому-нибудь другому нельзя?

— Нельзя. Да чего вы беспокоитесь?

— Нет. Я так... Ничего... К слову пришлось.

Он поворачивает обратно. На полдороге опять окликает меня:

— Жорж?

— Ну?

— И скоро?

— Думаю, скоро.

— Как скоро?

— Недели две, три еще.

— А выписать вместо Эрны нельзя никого?

— Нет.

Он ежится в своем синем халате, но молчит” (стр. 18).

На одной странице три “ну”, и несколько строк в одно слово. Такой же характер изложение носит на стр. 20, 29, 30, 42, 50—54 повести. Прим. 1928 г.

19 Вчитываясь теперь в эти отметы Толстого, вижу, что он зачеркнул все особенности языка и слога Сологуба, сурово поставил крест над всем его творчеством. Если в маленьком рассказе Сологуба можно (В рукописи пропуск. — Ред.), видеть русскую прозу 900-х годов, то и в приведенных кратких отметах можно, поистине, видеть, (В рукописи пропуск. — Ред.), — “по когтю — Льва”, — великого Льва “Войны и мира”. Прим. 1928 г.

20 Я глубоко ценил Толстого-педагога, и не мало писал о нем в 1900—1910-х гг. Напр. “Толстой, как школьный учитель”. С. “Своб. Восп.” 1910 г., ноябрь); посещением Толстого и обаянием его личности навеяна моя статья “Вечные дети” (там же, 1909 г. ноябрь). Прим. 1928 г.

21 Это была Ольга Ершова, рассказ которой про Льва Николаевича, записанный с ее слов Т.Л. Сухотиной-Толстой, напечатан в “Толстовском Ежегоднике на 1912 г.”. М., 1912 г. стр. 109—112. Прим. 1928 г.

22 Увы! Я не знаю, что означает это слово. В 1909 г. я упустил записать объяснение Толстого, а теперь не могу вспомнить. Когда я развернул словарь Даля, то оказалось, что в нем нет слова “ослёпок”. Из слов, более или менее близких, по созвучию, к извлеченному Львом Н-чем из тульского народного говора “ослёпку”, у Даля есть: “ослоп, ослопина, ослопье — слёга, жердь, стяг, дубина; жердяй, долгий, неуклюжий” (Даль. Словарь живого великорус. языка, изд. 4, т. 2, стр. 1811); “ослёток, — тка” (курс., орл.) — обрюток. Упитанный ребенок (там же, стр. 810); “аслёток” — (м., курс) — полный тучный ребенок, бутуз; обреуток, обрюток” (там же, т. 1, стр. 68).

23 Обе пьесы были поставлены в Москве в сезон 1909—1910 г. “Анатэма” шел в Художественном театре, “Анфиса”, запрещенная в Малом, шла в театре Незлобина. Прим. 1928 г.

24 Не привожу оценки рассказов Андреева, сделанной Толстым по 5-балльной системе и тогда же мною выписанной; под каждым рассказом Лев Николаевич ставил Андрееву балл. Оценка эта впоследствии была приведена в статье А.Е. Грузинского “Яснополянская библиотека” (“Толстовский ежегодник на 1912 г.”. М. 1912 г., стр. 141). Внесу только две поправки в сообщение Грузинского. Он пишет: “Молчание” носит отметку 5 на третьей главе, там, где о. Иван падает на пустую постель дочери”. Точнее сказать, пятерка Толстого стоит под частью рассказа, до слов: “В ту же ночь — это было ...” После отметки, поставленной под рассказом “Ложь” — 0, у Грузинского пропущена помета Льва Николаевича: “...ложного ряда”. Об отношении Льва Николаевича к Андрееву и его творчеству см. заметку Н.Н. Гусева к “Переписке Л.Н.Толстого с Л. Андреевым”. (“Толстой и о Толстом. Новые материалы”. Сборник 11. М. 1925, стр. 67—68; там же библиография вопроса об отношениях Л.Н. Толстого и Л.Н. Андреева). Прим. 1928 г.

25 Леонид Дмитриевич Семенов (188?—1918 г.), — талантливый поэт и писатель, автор рассказа “Смертная казнь”, и изданного с предисловием Толстого. Внук знаменитого ученого и деятеля освобождения крестьян, П.П. Семенова-Тяньшанского, он, после успешных выступлений в литературе, ушел в народ и, став последователем религиозного учения Александра Добролюбова (см. о нем дальше), жил простым батраком у крестьян той самой местности Рязанской губ., где у его деда было имение. Работая безвозмездно у крестьян, он проходил путь внутреннего духовного делания. Он был убит в 1918 г. Толстой вел с ним замечательную переписку в 1907—1908 гг. См. о Л. Семенове, мой некролог: “Бегун”. (Газета “Власть народа” 1918 г., 1 апреля). Прим. 1928 г.

26 “Я нынешний год не получаю ни одного журнала и ни одной газеты”, — пишет Толстой Фету в 1870 г. из Ясной Поляны, — и нахожу, что это очень полезно”. (“Письма. 1848—1910 г. Под ред. Сергеенко. М. 1910 г., стр. 89”). Через 9 лет, в разгар политических событий (покушение Соловьева на Александра II), он пишет тому же Фету: “Я добросовестно не читаю газет даже теперь и считаю нужным всех отвращать от этой пагубной привычки” — и дальнейшее представляет — отвратить Фета от чтения газет — “вонючего листа сырого”, от которого “рукам больно и на сердце злоба осуждений, чувство отчужденности”. (17 апр. 1870 г.; там же, стр. 133). Прим. 1928 г.

27 Помню, эта “Сикстинская Мадонна” в комнате “отрицателя” Толстого произвела на меня впечатление: я ждал найти в его комнате “Распятие” или “Что есть истина?” Ге, — и вдруг: этот “чистейшей прелести чистейший образец” — картина Рафаэля, величайшее из изображений богоматери! В украшении и убранстве своего кабинета волен же был Толстой: у него было там только то, что он хотел, чтобы было. И вот там висела в

чудесных, огромных (нигде я таких больше не видал) гравюрах “Сикстинская Мадонна”! Меня поразило и обрадовало это тогда, — до сих пор ощущаю эту радость. Прим. 1928 г.

28 К сожалению, я не мог выписать тогда этого места из Словаря Брокгауза и оттого, может быть, путаю цифры и название. В экземпляре Словаря, хранящемся в Ясной Поляне, конечно, хранится отметка Льва Николаевича в соответствующем томе. Прим. 1928 г.

29 Я писал тогда биографию В.М. Гаршина, из которой появились в печати только отдельные куски: “Детские годы Гаршина” (М. 1910 г.), “Погибшие произведения Гаршина” (“Русс. Ведомости”, 1913 г., 25 марта), “Репин и Гаршин” (Изд. Гос. акад. худ. наук, М., 1926 г.) и др. Прим. 1928 г.

30 После покушения (в 1880 г.) Млодецкого на жизнь всесильного тогда министра внутр. дел гр. М.Т. Лорис-Меликова, перед исполнением смертного приговора над Млодецким, Гаршин явился к Лорис-Меликову ночью и умолял его со слезами пощадить и простить Млодецкого. Лорис-Меликов приветливо принял и выслушал Гаршина, но казнь скорее была совершена. Потрясенный происшедшим и сам находясь на грани безумия, Гаршин исчез из Петербурга и явился в Ясную Поляну. Подробности этого посещения и интересовали меня. О них, по моей просьбе, еще в 1906 и 1907 гг. спрашивали Льва Николаевича И.И. Горбунов и Н.Н. Гусев, и тогда Лев Николаевич мог еще припомнить кое-что из встреч с Гаршиным. Прим. 1928 г.

31 Из разговоров с Софьей Андреевной я упомянул уже про ее рассказ о Гаршине. Мы с ней говорили еще о Фете; она была тонкой ценительницей его поэзии и личности. И я тогда же

подумал: “Вот кому женой она должна была бы быть: Фету! То же совмещение, — отнюдь не соединение, — поэзии и хозяйственности: поэзия сама по себе, практическая сторона жизни — тоже сама по себе”. Помню еще из слов Софьи Андреевны ее жалобу на ее положение жены великого человека: “Ведь я живу в Стеклянном доме. Стены, полы и потолки — все из стекла. Судите: удобно ли это? Всем всё и всегда видно. В моей жизни и семье открыто то, что происходит невидным и незамеченным в жизни тысяч других людей и семей, живущих не в стеклянном, а в обыкновенных домах”.

32 Он умер в начале 1880-х гг. У Льва Николаевича было сочувственное отношение к нему. При вести о его смерти-болезни, Л.Н. пишет Софье Андреевне: “Священника мне очень жалко и его семью, и хотелось бы увидеть его перед смертью” (1882 г., 26/VIII; “Письма к жене”. М., 1915 г., стр. 148).

33 В начале 1880-х гг. до всесветной и даже до всероссийской известности лица Толстого было еще далеко. Портреты были мало известны. При собрании его сочинений впервые портрет приложен был лишь в издании 1886 г., по желанию Софьи Андреевны. Лев Николаевич этому долго противился.

34 Об Андрее Ст. Буткевиче и его брате Анатолии см. отзывы Л. Н-ча в письмах к И.Б. Фейнерману, напр.: “Буткевичи такие же твердые и кроткие” (1887 г.,; собр. соч. 1913 г., т. XXII, стр.23; также стр. 90, 92 и др.).

35 Об этой “совести русского языка” Лев Николаевич писал еще в 1873 г. по поводу попытки издавать народный журнал. Отказываясь от участия в нем, он говорит: “Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам:

пишите, что хотите. Проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, — что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры на типографии, я уверен, что, кроме честного, здорового и хорошего, ничего не будет в журнале! Я не шучу и не желаю говорить парадоксов, а твердо знаю это из опыта. Совершенно простым и понятным языком ничего дурного нельзя будет написать. Все безнравственное представится столь безобразным, что сейчас будет отброшено; все сектаторское-протестанское ли, хлыстовское ли, — явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз, все сколько-нибудь поучительное, популярно-научное, но несерьезное и большею частью — ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком, покажется столь глупо и бедно, что тоже откинется” (письмо 1873 г. к г-же Пейкер. Цитирую по Н.Н. Гусев. “Л.Н. Толстой в расцвете художественного гения”. М. 1927 г., стр. 143. Это все, всю эту очистительную работу, сделает совесть языка, — та совесть языка, которою сам Толстой обладал в высокой степени.

36 Поэтическое отражение учения и жизни А. Добролюбова можно найти в его замечательной книге “Из книги невидимой”, М., 1905 г.

37 Дальнейшая судьба Картушина была глубоко скорбна. Когда наступила война 1914 г., ему пришлось пойти на войну в качестве санитаря. Его чуткая душа не выдержала ужасов войны, следствием которых он был, и он покончил с собою в 1916 г.

38 Не потому ли так мало “фактичны”, но так внутренне теплы предсмертные воспоминания Льва Николаевича об Э. Кросби (1907 г.), о Н.Я. Гроте (1910 г.)?

39 См.: Лао-Си. Тао-Те-Кинг, или писание о нравственности. Перевод с китайского проф. Д.П. Конисси, под редакцией Л.Н. Толстого. Вступ. статья и примечания С.Н. Дурылина. М. 1913 г. Предисловие переводчика.

40 Ср. упоминаний о Конисси в письме Л.Н. Толстого к жене от 28 дек. 1896 г.: “Письма были интересные: от японца знакомого Конисси, христианина и писателя. Он присылает статью свою с английского”. (“Письма к жене”, изд. 2, 1915 г., стр. 497); интересна отметка в “Дневнике” от 10 дек. 1896 г.: “За это время были японцы с письмом от Конисси. Они, японцы, к христианству несомненно ближе, чем наши церковные христиане. Очень я их любил”. (“Дневник Л.Н. Толстого”. 1895—1899 гг. т 1, изд. 2, 1916 г., стр. 48).

41 То, что Лев Николаевич говорил Конисси в начале 90-х гг., то самое он повторил в письме “К другому японцу” от 4 марта 1905 года: “Совсем не нужно быть ни христианином, ни буддистом, ни конфуцианцем, ни таосистом, ни магометанином... Но каждый должен иметь религию, т.е. иметь разумное объяснение и определение цели своей жизни. Это разумное объяснение своей жизни каждый может найти в своей религии. Это объяснение во всех религиях одно и то же. Оно состоит в следующем. Человек есть служитель высшей власти, которую называют Богом, и он должен исполнять волю этой власти. Воля этой власти есть единение всех людей, которое может быть достигнуто через любовь”. (“К другому японцу”. Собр. соч. изд. 1913 г., т. XXIII, стр. 99).

42 “Письма Л.Н. Толстого. 1848—1910 гг.” Собр. и редак. П.А. Сергеенко. М., 1910 г., стр. 127—128.

43 (Пропуск в рукописи.—Ред.).

44 Запись от 4 июля 1899 г. “Дневник. 1895—1899 гг. т. 1, изд. 2, М., 1916 г. стр. 171.

45 Там же, стр. 236.

46 Письмо от 1 нояб. Собр. сочин., изд. 1913 г., т. XXIII, стр. 75.

47 Письмо к Н.Г. Молостову от 18 февр. 1897 г.; там же, т. XXIII.

48 “Новый сборник писем Толстого”. Собрал П.А. Сергеенко. Под ред. А.Е. Грузинского. М., 1911 г., стр. 344-5.

49 Там же, стр. 342.

50 Тогда еще не был испорчен русский язык отвратительным словом “заснять”.

* Примеч. ред. Сергей Дурылин неточно цитирует стихотворение Валерия Брюсова “L’ennui de vivre” [Скука жизни... (франц.)]. В оригинале:

Я жить устал среди людей и в днях,

Устал от смены дум, желаний, вкусов,

От смены истин, смены рифм в стихах.

Желал бы я не быть “Валерий Брюсов”.

Не пред людьми — от них уйти легко, —

Но пред собой, перед своим сознанием, —

Уже в былое цепь уходит далеко,

Которую зовут воспоминаньем.

Склонясь, иду вперед, растущий груз влача:

Дней, лет, имен, восторгов и падений.

Со мной мои стихи бегут, крича,

Грозят мне замыслов недовершенных тени,

Слепят глаза сверканья без числа

(Слова из книг, истлевших в сердце-склепе),

И женщин жадные тела

Цепляются за звенья цепи.

О, да! вас, женщины, к себе воззвал я сам

От ложа душного, из келий, с перепутий,

И отдавались мы вдвоем одной минуте,

И вместе мчало нас течение по камням.

Вы скованы со мной небесным, высшим браком,

Как с морем воды впавших рек,

Своим я вас отметил знаком,

Я отдал душу вам — на миг, и тем навек.

Иные умерли, иные изменили,

Но все со мной, куда бы я ни шел.

И я влеку по дням, клонясь как вол,

Изнемогая от усилий,

Могильного креста тяжелый пьедестал:

Живую грудку тел, которые ласкал,

Которые меня ласкали и томили.

И думы... Сколько их, в одеждах золотых,

Заветных дум, лелеянных с любовью,

Принявших плоть и оживленных кровью!..

Я обречен вести всю бесконечность их.

Есть думы тайные — и снова в детской дрожи,

Закрыв лицо, я падаю во прах...

Есть думы светлые, как ангел Божий,

Затерянные мной в холодных днях.

Есть думы гордые — мои исканья Бога, —

Но оскверненные притворством и игрой,

Есть думы-женщины, глядящие так строго,

Есть думы-карлики с изогнутой спиной...

Куда б я ни бежал истоптанной дорогой,

Они летят, бегут, ползут — за мной!

А книги.... Чистые источники услады,

В которых отражен родной и близкий лик, —

Учитель, друг, желанный враг, двойник —

Я в вас обрел все сладости и яды!

Вы были голубем в плывущий мой ковчег

И принесли мне весть, как древле Ною,

Что ждет меня земля, под пальмами ночлег,

Что свой алтарь на камнях я построю...

С какою жадностью, как тесно я приник

К стоцветным стеклам, к окнам вещей книг,

И увидел сквозь них просторы и сиянья,

Лучей и форм безвестных сочетанья,

Услышал странные, родные имена...

И годы я стоял, безумный, у окна!

Любуясь солнцами, моя душа ослепла,

Лучи ее прожгли до глубины, до дна,

И все мои мечты распались горстью пепла.

О, если б все забыть, быть вольным, одиноким,

В торжественной тиши раскинутых полей,

Идти своим путем, бесцельным и широким,

Без будущих и прошлых дней.

Срывать цветы, мгновенные, как маки,

Впивать лучи, как первую любовь,

Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,

Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!